

О ЛЮБВИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ, О ГОРДОСТИ И РЕВНОСТИ, О МОЛОДОСТИ И БЕЗУМИИ...



Георг Эберс

ДОЧЬ ФАРАОНА

Георг Эберс
Дочь фараона

«Седьмая книга»

1864

Эберс Г. М.

Дочь фараона / Г. М. Эберс — «Седьмая книга», 1864

528 лет до Рождества Христова. Персия и Древний Египет времен фараона Амазиса II. Египетскую царевну Нитетис отправляют в далекую Персию, где она предназначена в жены могущественному персидскому царю. Юная принцесса и не подозревает о том, какую череду событий вызовет ее приезд в Вавилон. Роман о любви и предательстве, о гордости и ревности, о молодости и безумии. Роман — о власти над людьми и над собой, о доверии, о чести, о страданиях.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	13
Глава третья	24
Глава четвертая	28
Глава пятая	36
Глава шестая	41
Глава седьмая	46
Глава восьмая	57
Глава девятая	64
Глава десятая	69
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Георг Эберс

Дочь фараона

Глава первая

Нил вышел из берегов. Необозримая водная равнина раскинулась вширь и вдаль там, где в другое время виднелись роскошные нивы и цветущие гряды. Только защищенные дамбами города, с их гигантскими храмами и дворцами, крыши деревень, а также вершины высокоствольных пальм и густолиственных сикомор возвышались над зеркальной поверхностью потока. Ветви ив свешивались в волны, а серебристые тополя со своими устремляющимися вверх ветвями, казалось, старались уйти от влажной стихии. Взошла полная луна, проливая мягкий свет на цепь Ливийских гор, сливавшуюся с западным горизонтом. На зеркальной поверхности воды плавали голубые и белые цветы лотоса. Летучие мыши разного вида стремительно носились в неподвижном воздухе, напоенном запахом жасминов. На вершинах деревьев дремали дикие голуби и другие птицы, между тем как пеликаны, аисты и журавли приютились под защитой папирусного тростника и нильских бобов, зеленевших на берегу. Первые скрывали свои долгоносые головы под крылом и оставались неподвижными, а журавли вздрагивали при малейшем ударе весел или звуке песни работавших лодочников и вглядывались вдаль, боязливо вытянув вперед тонкие шеи. В воздухе не чувствовалось ни малейшего веянья, и отражение луны, плававшее на водной поверхности, подобное серебряному щиту, показывало, что Нил, бешено несущийся через пороги мимо гигантских храмов Верхнего Египта, замедляет свое бурное течение и становится спокойным там, где он, разделяясь на несколько рукавов, приближается к морю.

В эту лунную ночь за 528 лет до Рождества Христова в устье Нила, почти лишенном течения, скользила барка. На высокой крыше задней палубы сидел египтянин и оттуда направлял длинный шест руля. В самой лодке полунагие гребцы, распевая песни, исполняли свои обязанности. Под открытым навесом каюты, похожим на деревянную беседку, лежали два человека на низких диванах. Оба они были очевидно не египтяне. Даже при лунном свете можно было узнать в них греков по происхождению: старший, необыкновенно высокий и сильный мужчина, лет за пятьдесят, с мускулистой шеей, на которую беспорядочно спускались густые седые кудри, был одет в простой плащ и мрачно смотрел на реку, между тем как его спутник, годами двадцатью моложе его, стройный и хорошо сложенный, то посматривал на небо, то обращался к рулевому или же поправлял складки своего прекрасного пурпурно-голубого хламиса и приводил в порядок душистые каштановые волосы и слегка вьющуюся бороду. Судно около получаса тому назад отплыло из Наукратиса, единственной эллинской гавани в тогдашнем Египте. Седой мужчина родом из Спарты в течение всего пути не произнес ни слова, и его спутник предоставил его собственным мыслям. Когда барка стала приближаться к берегу, беспокойный путешественник встал и, обратясь к товарищу, воскликнул:

— Мы сейчас будем у цели нашего путешествия, Аристомах. Вон тот веселый домик налево с заросшим пальмами садом, возвышающийся над затопленными полями, и есть жилище моей приятельницы Родопис. Его выстроил ее покойный муж Харакс, и все ее друзья и даже сам фараон, стараются пополнять его ежегодно новыми украшениями. Напрасный труд! Если бы они собрали туда все сокровища мира, все-таки лучшим украшением этого дома осталась бы его прекрасная обительница!

Старик встал, бросил беглый взгляд на строение, расправил свою густую седую бороду, покрывавшую подбородок и щеки, но не губы, и спросил отрывисто:

– Что это ты, Фанес, так превозносишь эту Родопис? С каких это пор афиняне восхищаются старыми бабами?

Его спутник улыбнулся и ответил самодовольно:

– Мне кажется, что я знаток людей и в особенности женщин; но я еще раз уверяю тебя, что во всем Египте не знаю никого благороднее этой старухи. Когда ты увидишь ее вместе с ее очаровательной внучкой и услышишь свои любимые мелодии, пропетые хором прекрасно обученных невольниц, то наверняка поблагодаришь меня.

– А все-таки, – серьезным тоном возразил спартанец, – я не последовал бы за тобой, если бы не надеялся встретить тут дельфийца Фрикса.

– Ты увидишь его. Я также надеюсь, что пение подействует на тебя благотворно и рассеет твои мрачные думы.

Аристомах отрицательно покачал головой и сказал:

– Тебя, легкомысленного афинянина, может развеселить родной напев, но когда я услышу песни Алкмана, лирического поэта, то со мною будет то же, что и во время бессонных ночей. Мое томление не успокоится, а только усилится вдвое.

– Неужели ты думаешь, – спросил Фанес, – что я не тоскую по моим милым Афинам, по местам моих юношеских игр и оживленному рынку? Право, и мне не сладок хлеб изгнанника; но он все-таки становится приятнее вследствие знакомства с домом, подобным этому. И когда мои дорогие эллинские песни, исполненные так великолепно, касаются моего слуха, то родина встает в моем воображении; я вижу ее масличные и сосновые рощи, ее холодные изумрудные реки, ее синее море, ее блестящие города, снежные вершины и мраморные залы. Сладостно-горькая слеза скатывается на мою бороду, когда замолкают звуки, и я должен сказать себе, что нахожусь в Египте, этой однообразной, жаркой и все же удивительной стране, которую я, благодарение богам, скоро покину. Но, Аристомах, неужели же ты станешь обходить оазисы в пустыне только потому, что после них тебе придется пробираться по песку и терпеть недостаток в воде? Неужели ты хочешь убежать от удовольствий одного часа, потому что тебе предстоят мрачные дни? Но вот мы приехали. Постарайся принять веселый вид, мой друг, так как неприлично вступать в храм харит, богинь красоты, в грустном настроении.

В это время барка пристала к берегу у стены сада, омываемой Нилом. Афинянин выскочил из нее легким прыжком, спартанец же вышел на берег тяжелою, но твердою поступью. У Аристомаха одна нога была деревянная, но он шел с такой уверенностью возле легконогого Фанеса, что казалось, будто он родился на свет с этой деревянной ногой.

В саду Родопис все цвело, благоухало и жужжало. Аканты, гранаты с красными цветами, живые изгороди из калинника, жасмина, сирени и роз переплетались друг с другом, высокие пальмы, акации и бальзамовые деревья возвышались над кустами, а на реке раздавались пение и смех.

Этот сад был разбит египтянином; строители пирамид с давних времен славились и как отличные садовники. Они умели аккуратно разделять гряды, сажать правильные группы деревьев и кустов, устраивать водопроводы и фонтаны, беседки и гроты и даже окаймлять дорожки подстриженными изгородями, а также разводить золотых рыбок в каменных бассейнах.

Фанес остановился у калитки садовой стены, внимательно осмотрелся кругом и стал прислушиваться; затем покачал головой и сказал:

– Не понимаю, что это значит. Я не слышу голосов, не вижу огня, все барки исчезли, а между тем флаг развевается на пестром шесте около обелисков, по обеим сторонам ворот. Родопис, вероятно, отсутствует. Неужели она забыла?

Не успел он еще договорить этих слов, как густой голос прервал его:

– А, начальник телохранителей!

– Добрый вечер, Кнакиас! – воскликнул Фанес, приветливо кланяясь подходившему старику. – Что значит эта тишина в саду, похожая на безмолвие могильной египетской комнаты,

между тем как развеивается пригласительный флаг? С каких пор белое полотно напрасно призывает гостей?

– С каких пор? – улыбаясь, возразил старый раб Родопис. – Пока Парки, богини судьбы, благосклонно шадят мою госпожу, старый флаг, наверное, привлечет столько гостей, сколько возможно приютить в этом доме. Родопис нет дома, но она должна скоро вернуться. Вечер был так хорош, что она вместе со всеми гостями вздумала устроить увеселительную прогулку по Нилу. Два часа назад, перед заходом солнца, они отчалили от берега, а теперь уже готов ужин. Они не задержатся слишком долго. Пожалуйста, Фанес, умерь свое нетерпение и иди за мной в дом. Родопис никогда не простила бы мне, если бы я не удержал такого дорогого гостя. Тебя же, чужеземец, – продолжал он, обращаясь к спартанцу, – я также убедительно прошу остаться: ты тоже будешь желанным гостем для моей госпожи, как друг ее друга.

Оба грека последовали за слугой и уселись в одной из беседок.

Аристомах, рассматривая окрестности, ярко освещенные луной, сказал:

– Объясни мне, пожалуйста, Фанес, каким счастливым обстоятельствам обязана эта Родопис, бывшая рабыня и гетера, тем, что живет, как царица, и может по-царски принимать своих гостей?

– Этого вопроса я ожидал давно, – сказал афинянин, – мне очень приятно, что, прежде чем ты войдешь в дом этой женщины, я могу ознакомить тебя с ее прошлым. Во время путешествия по Нилу я не хотел навязывать тебе никаких рассказов. Эта древняя река с непонятной силой располагает к молчанию. Когда я, подобно тебе, первый раз совершал ночное путешествие по Нилу, то даже мой столь подвижный язык был словно парализован.

– Благодарю, – отвечал спартанец. – Когда я в первый раз увидел стопятидесятилетнего жреца Эпименида из Кносса на Крите, то мной овладел какой-то странный трепет, внушенный его старостью; насколько же древнее и священнее эта прославленная река! Кто может избегнуть ее чарующего влияния? Прошу тебя, Расскажи мне о Родопис.

– Родопис, – начал Фанес, – маленьким ребенком, когда играла на фракийском берегу с другими детьми, была украдена финикийскими моряками и увезена на Самос, где ее купил человек из благородной фамилии Ядмон. Девочка хорошела день ото дня, делалась все привлекательнее, умнее и служила предметом любви и удивления для всех, кто ее знал. Эзоп, сочинитель басен о зверях, в то же самое время находившийся в рабстве у Ядмона, в особенности восхищался миловидностью и умом ребенка. Он учил девочку всему и заботился о ней, как педагог, который у нас, афинян, берется для мальчиков. Добрый учитель нашел в ней послушную и весьма понятливую ученицу, и маленькая рабыня говорила, пела и играла на музыкальном инструменте лучше сыновей Ядмона, которых воспитывали самым тщательным образом. На четырнадцатом году Родопис была так прекрасна и совершенна, что ревнивая жена Ядмона не захотела держать девушку у себя в доме, и самосец с грустью должен был продать свою любимицу известному Ксанфу. В те времена на Самосе преобладала небогатая аристократия. Если бы Поликрат уже стоял у кормила правления, то Ксанфу не пришлось бы заботиться о хорошем покупателе. Эти тираны наполняют свои сокровищницы, как сороки гнезда! Таким образом, он отправился со своей драгоценностью в Наукратис и тут, посредством прелестей своей рабыни, приобрел много денег. Родопис в течение трех лет претерпела величайшие унижения, о которых вспоминает с содроганием.

Когда, наконец, слух о ее красоте распространился по всей Элладе и иностранцы изда- лека приезжали в Наукратис только ради нее, то случилось, что народ на Лесбосе изгнал свою аристократию и сделал правителем мудрого Питтака. Самые знатные семейства принуждены были покинуть Лесбос, и бежали частью в Сицилию, частью в греческую Италию, частью в Египет. Алкей, величайший поэт своего времени, и Харакс-младший, брат той Сафо, поэтессы античности, выучить оды которой, было последним желанием нашего Солона, политического

деятеля и поэта, прибыли сюда в Наукратис, который уже издавна процветал, как центральный пункт сношений Египта со всем остальным миром. Харакс увидел Родопис и вскоре полюбил ее так страстно, что заплатил громадную сумму за нее Ксанфу, желавшему возвратиться на родину. Сафо в едких стихах осмеяла брата по поводу этой покупки; но Алкей оправдал Харакса и воспел Родопис в пламенных стихах.

Брат поэтессы, остававшийся в прежнее время незамеченным среди иностранцев в Наукратисе, вдруг сделался знаменит благодаря Родопис. В его доме собирались ради нее все иностранцы и осыпали ее подарками. Фараон Хофра, много слышавший о красоте и мудрости Родопис, призвал ее в Мемфис и хотел купить ее у Харакса; но последний давно уже в тайне дал ей свободу и слишком сильно любил ее для того, чтобы быть в состоянии расстаться с нею. С другой стороны, она охотно оставалась у него, несмотря на блистательные предложения, которые делались ей со всех сторон. Наконец, Харакс сделал эту удивительную женщину своей законной женой и остался с нею и ее дочерью Клейс в Наукратисе, пока Питтак не позволил изгнанникам возвратиться на родину.

Тогда он отправился с женой на Лесбос. На пути туда он заболел и умер вскоре по прибытии в Митилену. Сафо, насмехавшаяся над братом вследствие его неравного брака, вскоре сделалась пламенной почитательницей прекрасной вдовы, которую она воспевала в страстных песнях, соперничая со своим другом Алкеем.

После смерти поэтессы Родопис возвратилась с дочерью в Наукратис и была принята здесь точно богиня. Между тем нынешний фараон египетский Амазис овладел тронem и удерживался на нем с помощью солдат, из касты которых происходил. Так как его предшественник Хофра ускорил свое падение своим пристрастием к грекам и сношениями с иностранцами, ненавистными всем египтянам, и в особенности довел до открытого возмущения жрецов и воинов, то все были уверены, что Амазис, по примеру старых времен, закроет иностранцам доступ в государство, отпустит эллинских наемников и станет слушаться приказаний жрецов вместо того, чтобы внимать греческим советам. Однако же ты сам видишь, что мудрые египтяне ошиблись в выборе фараона и от Сциллы попали к Харибде. Если Хофра был другом греков, то Амазиса мы можем назвать нашим любимцем. Египтяне, и прежде всего жрецы и воины, приходят в бешенство и охотнее всего перерезали бы нас всех, как поступил Одиссей с расточителями своего имущества. О воинах фараон не слишком-то заботился, зная, что делают они и что делаем мы для него; а на жрецов он не может не обращать внимания, так как, с одной стороны, они имеют неограниченное влияние на народ, а с другой – фараон сильнее, чем хочет казаться, предан той бессмысленной религии, которая остается неизменной в этой удивительной стране в течение тысячелетий и поэтому кажется вдвое священнее для людей, ее исповедующих. Эти жрецы отравляют жизнь Амазису, преследуют нас и вредят нам, где только могут; меня уже давно не было бы на свете, если бы фараон не прикрывал меня своей десницей. Но я слишком уклоняюсь от темы. Итак, Родопис была принята в Наукратисе с распростертыми объятиями и осыпана изъявлениями милости со стороны Амазиса, познакомившегося с нею. Ее дочь Клейс, которая, так же как теперь Сафо, никогда не присутствовала на вечерних собраниях в доме и которую воспитывали еще строже, чем других девушек в Наукратисе, вышла замуж за Глаука, богатого фокейского торговца из благородного дома, храбро защищавшего свой родной город против персов, и последовала за ним во вновь основанную Массалию, ныне Марсель, на кельтском берегу. Молодые люди погибли от тамошнего климата после того, как у них родилась дочь, Сафо. Родопис предприняла сама продолжительное путешествие на Запад, привезла маленькую сиротку, взяла ее к себе в дом, воспитывала ее самым тщательным образом, и теперь, когда она выросла, запрещает ей находиться в обществе мужчин. Она так сильно переживает позор своей ранней юности, что держит свою внучку гораздо далее от нашего пола, чем допускают египетские нравы, что, впрочем, нетрудно при характере Сафо. А самой моей приятельнице общество так же необходимо, как вода рыбе и воздух птице. Все иностранцы

посещают ее, а кто однажды испытал ее гостеприимство, тот, если позволяет ему время, никогда не преминет явиться, как только флаг возвестит о приемном вечере. Каждый эллин познательнее посещает этот дом, так как здесь происходят совещания, каким образом противодействовать ненависти жрецов и уговорить фараона согласиться на ту или другую меру. Здесь всегда можно услышать новейшие известия с родины и со всего остального мира; здесь преследуемый находит неприкосновенное убежище, так как фараон дал своей приятельнице защитительную грамоту против всех придирок городской стражи; здесь можно услышать язык и песни родины; здесь обсуждается, каким образом избавить Элладу от возрастающего единовластия, – одним словом, этот дом – пункт пересечения всех эллинских интересов в Египте, здешнее общество храма и торговли. Через несколько минут ты увидишь необыкновенную бабушку, – а может быть, если мы останемся одни, и внуку, – и тут же поймешь, что эти люди обязаны всем не одному счастью, но и своим способностям. Да вот и они! Теперь мы направимся к дому. Слышишь, как поют рабыни? Вот они входят. Пусть они сперва усядутся, и тогда следуй за мною, а при прощании я спрошу тебя, сожалеешь ли ты, что отправился со мною, и не более ли похожа Родопис на царицу, чем на рабыню, отпущенную на волю.

Дом Родопис был построен в греческом стиле. Внешний вид одноэтажного продолговатого здания должен был, по нашим понятиям, представляться совершенно простым, между тем как внутреннее устройство соединяло в себе эллинскую красоту форм с египетским величием красок. Широкая главная дверь вела в сени, по левую сторону которых большая столовая выходила окнами на реку. Против нее находилась кухня, существовавшая только у богатых эллинов, между тем как более бедные готовили кушанья на очаге в передней. Приемная располагалась в конце сеней, имела квадратную форму и была окружена коридором с колоннами, в который выходили двери нескольких комнат. Посреди приемной, обыкновенного местопребывания мужчин, горел домашний огонь на медном, имевшем форму алтаря, очаге искусной эгинской работы.

Днем эта комната освещалась посредством широкого отверстия в крыше, через которое вместе с тем выходил дым очага. Коридор, находившийся против сеней с накрепко запертой дверью, вел в большую комнату для женщин, только с трех сторон окруженную колоннами, в которой обыкновенно собирался женский персонал дома, если не был занят пряжею и ткачеством в комнатах около так называемой кладовой или задней двери. Между этими комнатами и теми, которые слева и справа окружали женскую комнату и предназначались для хозяйственных целей, помещались спальни, в которых помимо всего прочего хранилось домашнее имущество. Стены мужской комнаты были окрашены красновато-коричневой краской, на фоне которой резко выделялись белые мраморные статуи, подарок одного художника из Хиоса. Пол был украшен мозаичными картинами великолепных рисунков и цветов. Вдоль колонн тянулись низкие диваны, покрытые шкурами пантер, тогда как близ изящного очага стояли странных форм египетские кресла и столики из тисового дерева, с тонкой резьбою; на них лежали разного рода музыкальные инструменты: флейты, кифары и форминги. На стенах висели многочисленные лампы различных форм, наполненные маслом. Одни из них изображали дельфинов, изрыгавших пламя, другие – удивительных крылатых чудовищ, из пасти которых вырывалось пламя. Свет этих ламп приятно гармонировал с огнем очага.

В комнате находились несколько мужчин различной наружности и в разнородных костюмах. Сириец из Тира в длинной ярко-красной одежде вел оживленный разговор с человеком, чьи резкие черты и курчавые черные волосы изобличали израильтянина. Он прибыл из своего отечества в Египет, чтобы закупить для царя иудейского, Зоровавеля, египетских лошадей и колесницы, пользовавшиеся в то время наибольшей славой. Три грека из Малой Азии, в богато расшитых широких одеждах своего отечества, Милета, стояли около него и вели серьезные разговоры с просто одетым Фриксом, послом города Дельфы, который явился в Египет для

сбора денег на храм Аполлона. Древнее пифийское святилище десять лет тому назад сделалось добычею пламени; теперь предполагалось воздвигнуть другое, более великолепное.

Милетцы, ученики Анаксимандра, философа из Милета, и Анаксимена его последователя, находились на берегах Нила, чтобы изучать египетскую мудрость и астрономию в Гелиополе.

Третий был богатый купец и владелец кораблей, по имени Феопомп, поселившийся в Наукратисе. Сама Родопис оживленно разговаривала с двумя греками из Самоса, знаменитым архитектором, плавильщиком, скульптором и золотых дел мастером Феодором и сочинителем ямбов Ивиком из Регия. Они оставили двор Поликрата, известного торговца, на несколько недель, чтобы ознакомиться с Египтом и передать фараону подарки своего властителя. Около самого очага, вытянувшись во весь рост на пестрой меховой покрывке двухместного стула, лежал тучный мужчина с резкими чувственными чертами, по имени Филоин, из Сибариса, и играл своими душистыми, перевитыми золотом кудрями и золотыми цепочками, спускавшимися с шеи на шафранно-желтую одежду, которая доходила ему до самых пят.

У Родопис находилось для каждого приветливое слово, но теперь она разговаривала исключительно со знаменитыми самосцами. Она беседовала с ними об искусстве и поэзии.

Глаза фракиянки горели огнем юности, ее высокая фигура была полна и пряма, седые волосы густыми прядями обрамляли прекрасно сформированную голову и были подобраны на затылке в сетку из тонкой золотой плетенки. Высокое чело украшала сверкающая диадема.

Благородное греческое лицо ее было бледно, но прекрасно и замечательно отсутствием морщин, несмотря на преклонные лета; маленький, изящно обрисованный рот, большие, задумчивые и кроткие глаза, благородный лоб и нос этой женщины могли бы служить украшением для всякого молодого лица.

Родопис казалась моложе, нежели она была на самом деле, но нисколько не скрывала своих лет. Каждое движение ее было запечатлено достоинством матроны, и ее грация была не грацией юности, которая старается нравиться, а грацией старости, которая желает оказать приветливость и, будучи внимательна к другим, требует того же и по отношению к себе.

Теперь в комнате показались известные нам лица. Глаза всех обратились на них, и когда вошел Фанес, ведя за руку своего спутника, то его приветствовали самым дружеским образом; а один из милетцев воскликнул:

– А я-то и не знал, чего нам недостает. Теперь я понял, в чем дело: без Фанеса нет полного веселья!

Филоин-сибарит возвысил свой густой голос и провозгласил, не изменяя спокойной позы:

– Веселье – вещь прекрасная, и если ты принес его с собою, то я приветствую тебя, афинянин!

– А я, – сказала Родопис, подходя к новым гостям, – от души приветствую вас, если вы веселы, и приму вас не менее радушно, если вы удручены горем; я не знаю большего удовольствия, как разгладить морщины на челе друга. И тебя также, спартанец, я называю «другом», потому что это имя я даю каждому, кто люб моим друзьям.

Аристомах поклонился молча; афинянин же, обращаясь частью к Родопис, частью к сибариту, воскликнул:

– Итак, я могу доставить удовольствие вам обоим, мои дорогие! Ты, Родопис, будешь иметь случай утешать меня, твоего друга, потому что мне скоро придется покинуть тебя и твой милый дом; ты же, сибарит, будешь радоваться моему веселью, так как я, наконец, увижу мою Элладу и покину, хотя и не добровольно, эту страну, которую можно назвать золотой мышеловкой!

– Ты удаляешься? Ты получил отставку? Куда думаешь, ты отправиться? – спрашивали со всех сторон.

– Имейте терпение, друзья мои! – воскликнул Фанес. – Я должен рассказать вам длинную историю, которую приберегу на ужин. К слову говоря, любезная приятельница, мой голод столь же велик, как и моя печаль по случаю расставания с тобой.

– Голод – вещь прекрасная, – философски заметил сибарит, – когда ожидаешь хорошего обеда.

– Успокойся, Филоин, – отвечала Родопис, – я приказала повару приложить наивозможное старание и сообщила ему, что величайший гастронм из самого роскошного города всего мира, сибарит Филоин, будет строго судить его изысканные кушанья! Иди, Кнакиас, и вели подавать! Довольны ли вы теперь, нетерпеливые гости? Несносный Фанес, ты испортил мне весь ужин своим печальным известием!

Афинянин поклонился, а сибарит снова принялся философствовать:

– Удовлетворение – прекрасная вещь, когда имеешь средства исполнять все свои желания; я также благодарю тебя, Родопис, за то, что ты почтила мою несравненную родину. Что говорит Анакреонт?

Дорог день мне настоящий,
Что нам завтрашний сулит?
Будем пить, играть, – пусть горе
Наших дум не омрачит!

Эй, Ивик! Верно ли я цитировал стихи твоего друга, пировавшего вместе с тобою за столом Поликрата? Говорю тебе, что если Анакреонт пишет стихи лучше меня, то моя ничтожная особа умеет жить не хуже этого великого певца жизни. Ни в одной его песне не встречается похвалы еде, а разве еда не важнее, чем игра и любовь, хотя оба эти действия также весьма дороги мне? Без еды я должен был бы умереть, а без игры и любви могу прожить, хотя и весьма печально.

Сибарит, довольный своею плоской остротой, громко расхохотался; спартанец же во время разговора, продолжавшегося в том же тоне, обратился к дельфийцу Фриксу, отвел его в угол и, забывая свой степенный тон, спросил его с величайшим волнением, привез ли он ему давно ожидаемый ответ оракула. Серьезное лицо дельфийца сделалось приветливее; он откинул грудные складки своего хитона и вынул маленькую трубочку из овечьей кожи, похожей на пергамент, на которой было написано несколько строчек.

Руки сильного и храброго спартанца дрожали, когда он взял свиток и, развернув его, впился глазами в покрывавшие его строки. Так он простоял недолго; затем он с неудовольствием потряхнул седыми кудрями, возвратил сверток Фриксу и сказал:

– Мы, спартанцы, учимся иным вещам, а не чтению и письму. Если можешь, то прочти мне, что говорит Пифия.

Дельфиец пробежал письма и улыбнулся:

– Радуйся! Локиас, бог Аполлон, предсказывает тебе счастливое возвращение; послушай, что возвещает тебе жрица:

«Время придет – и железные полчища ринутся
Со снежных высот на побережье потока великого;
В утлой ладье ты пристанешь к желанному берегу,
Мир и покой обретут твои ноги усталые;
Пятеро судей даруют бездомному страннику
То, в чем ему было долго, так долго отказано!»

Напряженно вслушивался спартанец в эти слова. Он попросил во второй раз прочесть изречение оракула, затем повторил его на память, поблагодарил Фрикса и спрятал свиток.

Дельфиец вмешался в общий разговор; спартанец же непрерывно повторял про себя изречение оракула, чтобы не забыть его, и старался объяснить себе загадочные слова.

Глава вторая

Двери в столовую распахнулись. С каждой стороны у входа стоял хорошенький белокурый мальчик с миртовым венком в руке; посреди залы возвышался большой, низкий, блестяще отполированный стол, вокруг которого пурпурные подушки приглашали гостей разместиться поудобнее.

На столе красовались роскошные букеты цветов. Груды жареных яств, стаканы и чаши, наполненные финиками, винными ягодами, гранатами, дынями и виноградом, стояли рядом с маленькими серебряными ульями, наполненными медом; нежный сыр с острова Тринакрия лежал на фигурных медных тарелках, а посреди стола возвышалось серебряное украшение, походившее на алтарь; оно было обвито миртами и розовыми венками, а из вершины его поднимался приятный дым курений.

На крайнем конце стола блестел серебряный сосуд со смешанным напитком, великолепное произведение египетского искусства. Его искривленные ножки представляли двух гигантов, как будто изнемогавших под тяжестью чаши, которую несли. Этот сосуд был, подобно алтарю на середине стола, обвит цветами, и вокруг каждой чаши тоже обвивался венок из роз или мирт. Вся комната была усеяна розовыми листьями, а на гладких, покрытых белой штукатуркой стенах висело множество ламп.

Как только общество уселось на подушках, явились белокурые мальчики, которые возложили на головы и плечи пирующих мирты и венки из плюща и омыли их ноги в серебряных тазах. Служитель взял уже со стола первое жаркое, чтобы разрезать его, а сибарит все еще возился с обслуживающим его мальчиком и, хотя уже и без того благоухал всеми ароматами Аравии, приказал буквально укутать себя розами и миртами; но когда подали первое кушанье из тунца под горчичным соусом, он забыл обо всех иных вещах и предался исключительно наслаждению прекрасными блюдами. Родопис сидела на кресле во главе стола, около сосуда со смешанным напитком, и, управляя беседою, в то же время давала указания прислуживавшим рабам.

С некоторой гордостью глядела она на своих веселых гостей и, казалось, была занята исключительно каждым из них. То она осведомлялась у дельфийца об успехе его сбора, то спрашивала сибарита – нравятся ли ему произведения ее повара, то слушала Ивика, рассказывавшего, что Фриних Афинский, выдающийся трагик, перенес в гражданскую жизнь религиозные зрелища Феспида из Икарии и устраивает представления историй из древнейших времен с хорами и действующими лицами, говорящими и дающими ответы.

Затем она обратилась к спартанцу и сказала ему, что он единственный человек, перед которым ей приходится извиняться не за простоту своей трапезы, а за пышность ее. Когда он придет в следующий раз, то ее раб Кнакиас, не раз хвалившийся тем, что в качестве беглого спартанского илота умеет варить отличный кровяной суп (тут сибарит содрогнулся), приготовит ему чисто лакедемонский, спартанский, обед.

Наевшись, гости снова ополоснули свои руки. Обеденная посуда была убрана, пол очищен и налито вино с водою в чашу. Наконец, удостоверившись, что все идет как следует, Родопис обратилась к Фанесу, спорившему с милетцами:

– Благородный друг! Мы уже так долго сдерживали наше нетерпение, что теперь ты обязан сообщить нам – какой неприятный случай грозит тебе удалением из Египта и из нашего круга. Ты оставишь нас и нашу страну с той беззаботностью, которую боги, в виде драгоценного дара, ниспосылают всем вам, ионийцам, при рождении; но мы очень долго будем с грустью вспоминать о тебе, так как я не знаю утраты более значительной, чем потеря друга, испытанного долголетним опытом. Некоторые из нас слишком долго прожили на берегах Нила для

того, чтобы не усвоить отчасти постоянства египтян. Ты улыбаешься, но мне кажется, что хотя ты и давно стремился душою в Элладу, но все-таки расстанешься с нами не без некоторого сожаления. Ведь я права, не так ли? Ну, так расскажи нам – почему ты принужден покинуть Египет, чтобы мы могли обсудить – не представится ли возможность отменить твое удаление от двора и сохранить тебя для нас.

Фанес горько улыбнулся и сказал:

– Благодарю тебя, Родопис, за твои любезные слова и доброе желание воспрепятствовать моему отъезду, огорчающему тебя. Сотни новых лиц вскоре заставят тебя забыть обо мне, так как хотя ты и давно уже живешь на берегу Нила, но осталась эллинкою от головы до пяток, за что должна благодарить богов. И я также сторонник постоянства, но я враг египетской тупости; вероятно, между вами не найдется ни одного человека, который счел бы благо-разумным сокрушаться о неизбежном. Египетское постоянство в моих глазах есть не добродетель, а просто заблуждение. Египтяне, сохраняющие своих покойников в течение тысячелетий и скорее согласные лишиться последнего куса хлеба, чем пожертвовать одной костью своего прапрадеда, должны быть названы не постоянными, а глупыми. Разве мне может быть приятно видеть грустными тех, кого я люблю? Разумеется, нет! Вы не должны вспоминать обо мне с ежедневными сетованиями, продолжающимися в течение нескольких месяцев, подобно египтянам, когда их покидает друг. Если вы захотите когда-либо вспомнить обо мне – так как впредь я до конца жизни не имею права ступить на египетскую землю – то вспоминайте меня с улыбкою на губах. Не восклицайте: «Ах, зачем вынужден Фанес покинуть нас!» – а говорите: «Будем веселы, как был Фанес, когда он еще находился в нашем кругу!» Вот как вам следует поступать. Так советовал еще Семонид, греческий поэт, когда пел:

Если б мы рассудком обладали,
То рыдать так долго мы б не стали,
И у гроба, мертвых хороня,
Плакали б не дольше дня.
Смерть от нас и так ведь не далеко,
Жизнь мелькает, как волна потока,
И без лишних горестей она
Так ничтожна, так бледна!

Если не следует оплакивать покойников, то еще более неблагоприятно тосковать о покидающих нас друзьях; те исчезли навеки, а этим мы говорим при прощании: «до свидания!»

Тут сибарит, уже давно выдававший признаки нетерпения, не мог выдержать более и воскликнул плачущим голосом:

– Да начинай же ты, наконец, рассказывать, несносный человек! Я не могу выпить ни капли, покамест ты не перестанешь разглагольствовать о смерти. Я совсем похолодел и делаюсь болен каждый раз, как только заходит речь о... словом, когда говорят, что мы будем жить не вечно.

Все общество рассмеялось, а Фанес начал свой рассказ:

– Как вам известно, я живу в Саисе, в новом дворце, а в Мемфисе мне, как начальнику греческой стражи, сопровождающей фараона во всех его поездках, было назначено помещение в левом крыле старого дворца.

Со времен первого Псаметиха, египетского фараона, фараоны имеют свою резиденцию в Саисе, и поэтому другие дворцы несколько запущены. Мое помещение было само по себе прекрасно, отлично устроено и не оставляло бы ничего желать во всех отношениях, если бы, тотчас же по моему водворению, не открылось одно страшное неудобство.

Днем, когда я вообще редко бываю дома, мое жилище, по-видимому, было безукоризненно хорошо, но ночью невозможно было даже помышлять о сне, такой страшный шум поднимали тысячи мышей и крыс под старыми полами, за обоями и под кроватями.

Я не знал, каким образом помочь этой беде, пока один египетский солдат не продал мне двух прекрасных больших кошек, которые действительно, по прошествии нескольких недель, отчасти освободили меня от моих мучителей и дали возможность спокойно спать по ночам.

Всем вам известно, что один из законов этого удивительного народа, образованностью и мудростью которого вы, мои милетские друзья, не можете достаточно нахвалиться, объявляет кошек священными животными. Этим счастливым четвероногим, наравне со многими другими животными, воздаются божеские почести, и убийство их наказывается так же строго, как убийство человека.

Родопис, до тех пор улыбавшаяся, сделалась серьезнее, когда узнала, что изгнание Фанеса связано с его неуважением к священным животным. Она знала, скольких жертв и человеческих жизней уже стоило это суеверие египтян. Еще незадолго перед тем сам фараон Амазис не мог спасти от ярости взбешенного народа несчастного самосца, убившего кошку.

– Все шло хорошо, – продолжал рассказывать Фанес, – пока мы, два года тому назад, не уехали из Мемфиса.

Я поручил своих кошек попечению египетского дворцового прислужника и знал, что враждебные крысам животные избавят мое жилище от их нашествия, и даже начинал чувствовать некоторого рода уважение к моим спасителям.

В прошлом году Амазис заболел прежде, нежели двор успел переселиться в Мемфис, и мы остались в Саисе.

Наконец, около шести недель тому назад мы двинулись в путь, к городу пирамид. Я поселился в своей старой квартире и не нашел в ней и тени мышиного хвоста; но вместо крыс три комнаты были наполнены другой породой животных, которая была мне так же неприятна, как и ее предшественники. А именно, кошачья чета удесятилась в течение моего двухлетнего отсутствия. Я старался изгнать несносное кошачье поколение всех возрастов и мастей; но мне это не удалось, и я каждую ночь просыпался от ужасного хора этих четвероногих – от воинственного мяуканья кошек и песен котов.

Ежегодно, во время праздника в Бубастисе, позволяется сдавать всех лишних кошек в храм богини Баст, имеющей кошачью голову; там за ними ухаживают и, как мне кажется, устраняют их в случае слишком сильного размножения. Ведь жрецы – мошенники!

К несчастью, время нашего пребывания у пирамид не совпало с великим путешествием к вышеназванному святилищу, но у меня не было сил долее терпеть это полчище мучителей, и когда две кошки подарили мне еще дюжину здоровых потомков, я решился спровадить хоть этих последних. Мой старый раб Мюс, что значит «мышь», уже по одному имени своему прирожденный враг кошачьей породы, получил приказание убить юных животных, спрятать в мешок и бросить в Нил.

Это убийство было необходимо, так как иначе мяуканье котят выдало бы содержимое мешка дворцовым слугам. Когда стало смеркаться, бедный Мюс отправился со своей опасной ношей через рощу Хатор к Нилу. Но дворцовый слуга, египтянин, обыкновенно кормивший моих животных и знавший каждую кошку по имени, догадался о нашем плане.

Мой раб спокойно шел по большой сфинксовой аллее мимо храма Пта; мешок он спрятал под плащом. Уже в священной роще он обнаружил, что за ним следуют, но не обратил на это внимания и совершенно спокойно продолжал идти дальше, заметив, что люди, шедшие за ним, остановились у храма Пта и начали разговаривать там с жрецами.

Он уже стоял на берегу Нила. Тут он услышал, что его зовут и что множество людей бегут за ним, и брошенный в него камень пролетел близехонько от его головы.

Мюс понял угрожавшую ему опасность. Собрав все силы, он добежал до реки, бросил мешок в воду и с сильно бьющимся сердцем, но, как ему казалось, без всякой улики в своей вине, остался стоять на берегу. Несколько минут спустя он был окружен сотней служителей при храме. Верховный жрец бога Пта, Птаотеф, мой старый враг, не счел ниже своего достоинства лично последовать за ними.

Многие из них, и в том числе вероломный дворцовый слуга, тотчас же бросились в Нил и нашли, на наше несчастье, мешок с двенадцатью кошачьими трупами, который, не поврежденный, запутался в папирусовом тростнике у берега. В присутствии главного жреца, толпы прислужников при храме и, по крайней мере, тысячи мемфисцев, был открыт «гроб» из бумажной ткани. Когда они увидели его ужасное содержимое, то поднялся такой отчаянный вой, что я слышал его в самом дворце. Разъяренная толпа в диком бешенстве бросилась на моего бедного слугу, сбила его с ног, топтала его ногами и тут же лишила бы его жизни, если бы всемогущий верховный жрец не удержал ее, и не приказал заключить в тюрьму страшно изувеченного преступника, имея намерения погубить меня, так как во мне он подозревал зачинщика святотатства.

По прошествии получаса был арестован и я.

Мой старый Мюс взял на себя всю вину, но верховный жрец, посредством пытки, вынудил его признаться, что это я приказал ему убить кошек и он, как верный слуга, принужден был повиниться.

Верховное судилище, против приговоров которого даже сам фараон не имеет никакой власти, составлено из жрецов Мемфиса, Гелиополя и Фив; поэтому вы можете себе представить, что как бедного Мюса, так и мою ничтожную эллинскую особу, не задумываясь, приговорили к смерти. Раба приговорили за два уголовных преступления: во-первых, за убийство священных животных, во-вторых, за двенадцатикратное осквернение трупами священного Нила; меня же – за то, что я был зачинщиком этого, как они называли, двадцатичетырехкратного уголовного преступления. Мюса казнили в тот же день. Мир праху его! В моей памяти воспоминание о нем будет жить как воспоминание о друге и благодетеле. Перед его трупом и мне был прочтен смертный приговор; и я уже стал приготавливаться к длинному путешествию в подземный мир, когда фараон приказал отложить мою казнь.

Меня снова отвели в тюрьму.

Аркадийский таксиарх, командир подразделения, находившийся в числе моих стражей, сообщил мне, что все греческие командиры из числа телохранителей и множество солдат, в числе более четырех тысяч человек, грозили выйти в отставку, если не помилуют меня, их начальника.

В сумерки меня привели к фараону, который милостиво принял меня. Сам он подтвердил все сказанное таксиархом и выразил свое сожаление, что он должен лишиться столь любимого воина. Что же до меня, то я охотно признаюсь, что нисколько не сержусь на Амазиса, и прибавлю, что чувствую сожаление к нему, могущественному фараону. Если бы вы послушали, как он жаловался, что ни в чем не может поступить как хочет, и даже в своих личных делах не может избежать помехи со стороны жрецов! Если бы это зависело от него, говорил он, то он охотно простил бы мне, иноземцу, преступление против закона, который мне непонятен, который я, хотя и несправедливо, считаю бессмысленным суеверием. Но, чтобы не раздражать жрецов, он не может оставить меня без наказания. Изгнание из Египта есть самая легкая кара, которую он может наложить на меня.

– Ты даже не представляешь, – этими словами заключил он свои жалобы, – какие значительные уступки я принужден был сделать жрецам для того, чтобы выхлопотать тебе помилование! Ведь наш верховный суд независим даже от меня, фараона!

Таким образом, я откланялся после того, как дал клятву покинуть Мемфис в тот же день и Египет – самое позднее – через три недели.

У ворот дворца я встретился с наследным принцем Псаметихом, уже давно преследующим меня из-за неприятных историй, о которых я должен умолчать (ты знаешь их, Родопис). Я хотел проститься с ним, но он отвернулся от меня, воскликнув: «Ты и на этот раз избежал наказания, афинянин; но от моей мести ты еще не избавился! Куда бы ты ни ушел, я сумею найти тебя!» – «Итак, я могу надеяться на свидание с тобою», – ответил я ему и затем перенес свое имущество на барку и прибыл сюда, в Наукратис, где счастье свело меня с моим старым другом Аристомахом из Спарты, который, в качестве прежнего начальника войск на острове Кипр, весьма вероятно будет назначен моим преемником. Я был бы весьма доволен, увидав на своем месте такого достойного человека, если бы не опасался, что рядом с его замечательными заслугами мои покажутся еще ничтожнее, чем они есть на самом деле!

Тут Аристомах прервал афинянина и воскликнул:

– Довольно хвалить меня, друг Фанес! Спартакские языки неповоротливы; но когда тебе встретится нужда во мне, то я на деле дам тебе надлежащий ответ.

Родопис одобрительно улыбнулась обоим. Потом подала руку каждому из них и сказала:

– К сожалению, я узнала из твоего рассказа, мой бедный Фанес, что дальнейшее пребывание твое в этой стране невозможно. Я не стану порицать тебя за легкомыслие, но ведь ты должен был знать, что подвергался большой опасности из-за пустяков. Человек мудрый и истинно мужественный решается на рискованное предприятие только тогда, когда ожидаемая от него польза превышает вред. Безумная храбрость столь же вредна, как и трусость, хотя и не так достойна порицания, потому что если обе они вредят, то позорна только последняя. Твое легкомыслие едва не стоило тебе жизни, той жизни, которая дорога для многих и которую ты должен сохранять для дел более прекрасных, нежели глупое сумасбродство. Мы не можем пытаться сохранить тебя для нас, так как не принесли бы этим пользы тебе и повредили бы себе самим. Пусть на будущее время этот благородный спартак, в качестве начальника телохранителей, сделается представителем нашей нации при дворе; пусть он старается оградить ее от нападков жрецов и сохранить ей милость фараона. Я беру твою руку, Аристомах, и не выпущу ее до тех пор, пока ты не обещаешь нам, по примеру твоего предшественника Фанеса, защищать, по мере сил, каждого самого незначительного грека от высокомерия египтян и скорее отказаться от своего места, чем оставить без внимания и возмездия малейшую несправедливость, которой подвергнется эллин. Нас всего несколько тысяч среди стольких же миллионов египтян, и мы должны поддерживать свою силу единодушием. До сих пор эллины в Египте вели себя, как настоящие братья; один жертвовал собой за всех, все – за одного, и именно это единодушие делало нас неодолимыми и должно и на будущее время сохранить нашу силу. Если бы только мы могли даровать нашей метрополии и ее колониям то же самое единодушие, если бы все племена нашего отечества, забыв о своем дорическом, ионическом или эллинском происхождении, довольствовались одним названием «эллинов» и жили подобно детям одной семьи, подобно овцам одного стада, – тогда действительно весь мир не был бы в состоянии сопротивляться нам, и все нации признали бы Элладу своей властительницей.

Глаза старухи засверкали при этих словах; спартак же сжал ее руку, с необузданным порывом стукнул о пол своей деревянной ногой и воскликнул:

– Клянусь Зевсом Лакедемонским, я не позволю тронуть ни одного волоса на голове эллинов; ты же, Родопис, достойна быть спартаккой!

– И афиняшкой! – подхватил Фанес.

– Ионийкой! – вскричали милетцы.

– Дочерью геоморов, аристократов, на Самосе! – воскликнул скульптор.

– Но я более всего этого, – провозгласила вдохновенная женщина, – я более всего этого: я – эллинка!

Все были в восхищении; даже сириец и еврей не могли остаться равнодушными при всеобщем возбуждении; только сибарит не изменил своему спокойствию и сказал, набив рот кушаньем:

– Ты была бы достойна быть также сибариткой, так как твое жаркое самое лучшее, какое только мне приходилось есть после отъезда из Италии, а твое антильское вино я нахожу почти таким же вкусным, как вино с Хиоса или со склонов Везувия!

Все засмеялись, только спартанец бросил на лакомку взгляд, полный презрения.

– Приветствую вас! – внезапно раздался еще незнакомый собравшимся, басистый голос, донесшийся из-за окна.

– Приветствуем тебя! – отвечал хор пирующих, стараясь угадать – кто этот запоздалый гость.

Недолго пришлось ожидать его; не успел еще сибарит глотнуть следующий глоток вина, как около Родопис уже стоял высокий, худощавый старик примерно шестидесяти лет от роду, с продолговатой изящной и умной головой; это был Каллиас, сын Фениппа Афинского.

Запоздалый гость – один из богатейших афинских изгнанников, дважды выкупавший у государства свое имущество и дважды лишавшийся его по возвращении Писистрата, афинского тирана, вглядывался своими ясными, умными глазами в своих знакомых, и, дружески поздоровавшись со всеми, воскликнул:

– Если вы не оцените достойным образом мое сегодняшнее появление, то я скажу, что в мире не существует благодарности!

– Мы долго ждали тебя, – прервал его один из милетцев. – Ты первый приносишь известие о ходе олимпийских игр!

– И мы не могли желать лучшего вестника, чем бывший победитель, – прибавила Родопис.

– Садись, – с нетерпением проговорил Фанес, – и рассказывай коротко и связно то, что тебе известно, друг Каллиас!

– Сейчас, земляк, – кивнул последний. – Уже довольно много времени прошло с тех пор, как я покинул Олимпию и отчалил от пристани в Кенхрэ на самосском пятидесятивесельном судне, лучшим, какое только когда-либо было построено.

Меня нисколько не удивляет, что ни один эллин до меня не пристал к берегу в Наукратисе; нам пришлось выдержать яростные бури, и мы могли бы поплатиться жизнью, если бы эти самосские корабли с их толстым дном, ибисовыми носами и рыбьими хвостами не были так добротно построены и снабжены экипажем.

Неизвестно, куда попали другие возвращавшиеся домой путешественники, но мы смогли укрыться в Самосской гавани и после десятидневного пребывания там снова отправиться в путь.

Когда мы, наконец, сегодня вошли в устье Нила, я тотчас же сел в свою барку, и Борей, желая, по крайней мере, в конце путешествия показать мне, что он все еще любит своего старого Каллиаса, помчал меня к цели так быстро, что я буквально через несколько минут завидел дом, самый приветливый из всех. Я заметил развевающийся флаг, свет в открытых окнах и долго колебался – войти мне или нет; но я не мог устоять против твоих чар, Родопис, и, кроме того, новости, которые я еще никому не сообщал, подавили бы меня, если бы я не вышел на берег, чтобы за куском жаркого и кубком вина рассказать вам такие вещи, какие вам и во сне не грезились.

Каллиас удобно расположился на диване и прежде, чем начал сообщать свои новости, преподнес Родопис великолепный золотой браслет, изображавший змею и купленный им за большие деньги в Самосе, в мастерской того самого Феодора, который сидел с ним за одним столом.

– Вот что я привез тебе, – сказал он, обращаясь к сильно обрадованной матроне, – а для тебя, друг Фанес, у меня найдется кое-что не хуже. Угадай, кто взял приз при состязании в беге на колесницах с четверкою лошадей?

– Афинянин? – спросил Фанес с пылающими щеками.

Всякая олимпийская победа принадлежала целому народу, гражданин которого удостоивался приза. Оливковая ветвь, полученная на олимпийских играх, была высочайшею честью и величайшим счастьем, какое только могло выпасть на долю эллина, и даже целого греческого племени!

– Отгадал, Фанес! – воскликнул вестник радости. – Первый приз получил афинянин, и, скажу еще более, это твой двоюродный брат Кимон, сын Кипселоса, брат того Мильтиада, который, девять олимпиад тому назад, удостоился подобной же чести. Он во второй раз победил в этом году с теми же конями, которые выиграли приз на прошлом празднике. Поистине, слава Алкмеонидов все более и более затмевается Филаидами. Гордишься ли ты, чувствуешь ли себя счастливым, услышав весть о прославлении своей семьи, Фанес?

Последний встал в величайшей радости и, казалось, вырос на целую голову.

С невыразимой гордостью и сознанием своего достоинства подал он руку вестнику победы, который, обнимая земляка, продолжал:

– Да, мы можем быть гордыми и счастливыми, Фанес; а больше всех приходится радоваться тебе. После того, как судьи единогласно присудили Кимону приз, он велел глашатаям объявить Писистрата собственником великолепной четверки, а следовательно – и победителем. Теперь ваш род, как объявил Писистрат, может возвратиться в Афины, и, таким образом, и для тебя пробил столь долгожданный час возвращения на родину!

При этих словах румянец веселья сбежал с щек начальника телохранителей; величая гордость его взгляда сменилась гневом, и он вскричал:

– Так, по-твоему, мне следует радоваться, глупый Каллиас? Нет, я должен плакать при мысли, что потомок Аякса так позорно повергнул к ногам властителя свою заслуженную славу. Я возвращусь домой? Ха! клянусь Афиной, отцом Зевсом и Аполлоном, что скорее я умру от голода в чужой земле, чем моя нога направится к отечеству, пока Писистрат держит его в порабощении. Я свободен, как орел в облаках, с тех пор, как оставил службу у Амазиса; но я готов стать скорее голодным рабом поселянина в чужой земле, чем первым слугой Писистрата на родине. Нам, благородному сословию, принадлежит господство в Афинах; и Кимон, положив свой венок к ногам Писистрата, облобызал скипетр тирана и запечатлел себя клеймом раба. Я сам скажу Кимону, что мне, Фанесу, нет никакого дела до милости властителя; мало того, я хочу остаться изгнанником до тех пор, пока не будет освобождено мое отечество, пока благородное сословие и народ снова не будут управлять сами собою и сами себе предписывать законы! Фанес не станет преклоняться перед поработителем, хотя бы тысяча Кимонов и все Алкмеониды, от первого до последнего, и даже твой род, Каллиас, богатые дадухи, бросились к ногам Писистрата.

Афинянин окинул собрание пламенным взглядом, старый Каллиас также с гордостью оглядел весь круг гостей. Казалось, что он хочет сказать всякому: «Смотрите, друзья, вот какие люди родятся в моем славном отечестве!»

Затем он снова взял Фанеса за руку и произнес:

– Как тебе, мой друг, так и мне ненавистен властитель; но я никак не могу отрешиться от мысли, что вряд ли может быть свергнута тирания, пока еще он жив. Его союзники, Лигдамис Наксосский и Поликрат Самосский, весьма могущественны; но для нашей свободы умеренность и мудрость самого Писистрата гораздо опаснее их. Во время моего последнего пребывания в Элладе я с ужасом видел, что масса афинского народа любит поработителя, как отца. Несмотря на свое могущество, он оставляет в действии государственные учреждения Солона. Он украшает город изумительнейшими произведениями искусства. Новый храм Зевса, воз-

двигаемый из великолепного мрамора Каллаэсхром, Антистатом и Порином, которых ты должен знать, вероятно, превзойдет все прежние эллинские постройки. Писистрат умеет привлекать в Афины художников и поэтов всякого рода, он велит записывать песни Гомера и собирать изречения Мусе Ономакритского. Он прокладывает новые улицы и устраивает новые празднества; торговля процветает при его правлении и народное благосостояние, несмотря на вновь налагаемые подати, увеличивается вместо того, чтобы уменьшаться. Но что такое народ? Это пошлая толпа, которая, подобно комарам, стремится навстречу всему блестящему, и если при этом она обожжет себе крылья, то все равно продолжает кружить вокруг свечи, пока та горит. Пусть погаснет факел Писистрата, и я клянусь тебе, Фанес, что непостоянная чернь устремится к новому светилу, к возвращающейся аристократии, с не меньшей готовностью, чем недавно к тирану. Еще раз дай пожать мне твою руку, истинный сын Аякса; вам же, друзья, я расскажу еще некоторые новости.

Итак, на скачках с колесницами победил Кимон, подаривший Писистрату свою оливковую ветвь. Никогда не видал я лучшей четверки. Также Аркезилай Киренский, Клесафен из Эпидамна, Астер из Сибариса, Гекатев из Милета и многие другие прислали в Олимпию великолепных лошадей. Вообще, в этот раз игры были более чем блистательны. Вся Эллада прислала своих послов. Рода, город Ардеатов, в дальней Иберии, богатый Тартес, Синоп на дальнем востоке у берега Понта, одним словом – каждое племя, гордящееся своим эллинским происхождением, имело там многочисленных представителей. Сибариты прислали послов, отличавшихся поистине ослепительным блеском, спартанцы – простых мужей, красотою уподобившихся Ахиллесу и ростом – Геркулесу; афиняне отличались гибкостью членов и грациозностью движений, кротонцы явились под предводительством Милона, сильнейшего из мужей человеческого происхождения, самосские и милетские гости старались превзойти великолепием и внешним блеском коринфян и митиленцев; весь цвет эллинского юношества находился в сборе, и на местах для зрителей сидело, рядом с мужами всякого возраста, сословия и племени, много прекрасных дев, прибывших в Олимпию преимущественно из Спарты, чтобы своими восклицаниями украшать игры мужчин. По ту сторону Алфея, главной реки Пелопонеса, был устроен рынок. Там можно было видеть торговцев из всех стран света. Эллины, кахедонцы, лидийцы, фригийцы и торгоши-финикийцы из Палестины заключали крупные сделки или предлагали свои товары в лавках и шатрах. Я не в состоянии описать вам толкотню и давку в толпе, поющие хоры, дымящиеся праздничные гекатомбы, пестрые наряды, дорогие колесницы, ценных коней, смешанный говор на различных диалектах, радостные восклицания старых друзей, встретившихся здесь после долголетней разлуки, блеск праздника, суету зрителей и купцов; напряженный интерес, с которым все следили за ходом игр, великолепный вид переполненных помещений для зрителей, бесконечное ликование в минуту признания чьей-либо победы, торжественное вручение ветви, которую мальчик из Элиса, имеющий в живых отца и мать, золотым ножом отрезает от священной оливы в Лътисе, посаженной несколько веков тому назад еще Геркулесом. Мне невозможно описать вам непрерывные крики восторга, разносившиеся по арене, подобно рокочущему грому, когда появился кротонец Милон и без малейшего усилия перенес на своих плечах через стадиум в Альтис свою собственную статую, вылитую Дамеасом из меди. Тяжесть металла сломала бы гиганта, но Милон нес эту статую так же легко, как лакедемонская нянька носит маленького мальчика.

После Кимона самые лучшие венки достались двум братьям, спартанцам Лизандру и Марону, сыновьям благородного изгнанника по имени Аристоммах. Марон одержал победу в беге; а Лизандр, под радостные восклицания всех присутствовавших, вступил в единоборство с Милоном, непревзойденным победителем в Пизе, на Пифийских играх и в Истме. Милон был выше и сильнее спартанца, сложением подобного Аполлону, чья юность показывала, что он едва вышел из-под ферулы, хлыста Педанома, домашнего учителя.

В своей обнаженной красоте, блистая от золотистого масла, которым они были натерты, стояли один против другого юноша и муж, подобные пантере и льву, изготовившимся к битве. Молодой Лизандр перед началом воздел руки к небу, обращаясь к богам с заклинанием, и воскликнул: «За моего отца, мою честь и славу Спарты!» Кротонец улыбнулся, глядя на юношу с выражением превосходства, подобно тому, как улыбается гастроном, намереваясь вскрыть раковину лангусты.

Но вот началось единоборство. Долго ни один не мог схватить другого. С могучей, почти непреодолимой силою хватался кротонец за своего противника, но тот, как змея, выскользнул из ужасных объятий атлета, руки которого были похожи на клещи. На эту борьбу все собрание смотрело онемев и затаив дыхание. Не слышно было ничего, кроме стонов борцов и пения птиц в Альтисовой роще. Наконец, юноше удалось, посредством самой великолепной хватки, когда-либо виданной мной, уцепиться за своего противника. Долго Милон напрасно напрягал свои силы, чтобы освободиться от крепких рук юноши. Пот борцов обильными струями орошал песок арены.

Все более и более увеличивалось напряжение зрителей, все глубже становилось молчание, все реже раздавались одобрительные возгласы, все громче слышался стон борцов. Наконец, силы юноши истощились. Тысячи ободряющих голосов взывали к нему, он еще раз с нечеловеческим напряжением собрал последние силы и попытался сбить кротонца с ног; но последний заметил минутный упадок сил своего противника и, в непреодолимом объятии, прижал его к себе. Тогда черная, обильная струя крови хлынула изо рта юноши, который бездыханным трупом упал на землю из ослабевших рук великана. Демокед, знаменитейший врач нашего времени, которого вы, самосцы, должны знать, – он был врачом при дворе Поликрата – явился немедленно; но никакое искусство не могло помочь спартанцу, так как он был уже мертв.

Милон лишился своего венка, а слава этого юноши разнесется по всей Элладе. Право, я сам желал бы скорее быть мертвым, подобно Лизандру, сыну Аристомаха, чем жить, как Каллиас, в бездействии стареющим на чужбине. Вся Греция, в лице своих лучших представителей, сопровождала к костру прекрасный труп юноши, и его статуя будет поставлена в Альтисе, рядом со статуями Милона Кротонского и Праксидама Эгинского. Наконец, глашатаи возвестили приговор судей:

«Спарта получит победный венок за покойника, так как благородного Лизандра победил не Милон, а смерть; а кто вышел непобежденным из двухчасовой борьбы с сильнейшим из греков, тот вполне заслужил оливковую ветвь».

Каллиас с минуту помолчал. Этот человек с живым темпераментом при описании события, столь дорогого для эллинских сердец, не обращал внимания на присутствовавших и, устремив глаза в пространство, казалось, видел, как перед ним менялись картины состязания. Теперь он огляделся вокруг и с удивлением обнаружил, что седой старик с деревянной ногой, – которого он, не зная его, уже успел заметить, – закрыл руками лицо и тихо плакал. С правой стороны около него стояла Родопис, а с левой – Фанес, и все присутствующие смотрели на спартанца так, как будто он был героем рассказа Каллиаса. Умный афинянин тотчас же сообразил, что, вероятно, старик находится в близких отношениях с кем-нибудь из олимпийских победителей; но когда он услышал, что Аристомах – отец этих двух прославившихся братьев-спартанцев, чьи прекрасные фигуры все еще рисовались у него перед глазами, подобно видениям из мира богов, тогда и он с завистливым удивлением стал глядеть на плачущего старика, и в его умных глазах блеснула слеза, которую он и не думал скрывать. В те времена мужчины плакали, надеясь получить от слез облегчение. В гневе, в великом восторге, при всяком душевном страдании мы видим плачущих героев, между тем как спартанский мальчик, не выпуская ни одного

жалобного звука, подвергал себя иногда смертельному бичеванию у алтаря Артемиды Орфии только для того, чтобы заслужить похвалу взрослых мужей.

Некоторое время все гости оставались безмолвными из уважения к горю старика. Наконец, израильтянин Иосия нарушил молчание и сказал на ломаном греческом языке:

– Выплачься хорошенько, спартанский муж. Я знаю, что значит потерять сына. И я тоже одиннадцать лет тому назад должен был схоронить прекрасного мальчика на чужой стороне, у рек вавилонских, где мой народ томился в рабстве. Если бы мой прекрасный ребенок прожил еще только один год, то он умер бы на родине, и мы могли бы схоронить его в могиле его отцов. Но Кир Персидский, первый царь государства, – да благословит Иегова его потомков! – освободил нас годом позднее; и я вдвойне оплакиваю дитя моего сердца, потому что могилу для него пришлось рыть в стране врагов Израиля. Может ли быть что-нибудь страшнее, чем видеть, как наши дети, драгоценнейшее сокровище, которое мы имеем, раньше нас уходят в могилу? И – да будет милостив ко мне Иегова – потерять прекрасного ребенка, каким был твой сын, именно в то время, когда он превратился в мужа, покрытого славою, – ведь это, должно быть, величайшая из горестей!

Спартанец отнял руки от своего сурового лица и, улыбаясь сквозь слезы, возразил:

– Ты ошибаешься, финикиянин, – я плачу от радости, а не от горя, и я охотно потерял бы и другого сына, если бы он умер, как мой Лизандр.

Израильтянин, приведенный в ужас этими словами, которые казались ему преступными и противными природе, только покачал неодобрительно головой, но присутствовавшие при этом эллины осыпали счастливого старика поздравлениями. Аристомах казался помолодевшим на несколько лет от восторга и вскричал, обращаясь к Родопис:

– Поистине, дом твой приносит мне благословение, потому что с тех пор, как я вошел в него, это уже второй дар богов, который я получил под твоей кровлей!

– Какой же был первый? – спросила хозяйка.

– Благоприятное изречение оракула.

– Ты забываешь третий, – воскликнул Фанес, – сегодня боги дали тебе счастье познакомиться с Родопис. А что изрек оракул?

– Могу ли я сообщить друзьям его изречение? – спросил дельфиец.

Аристомах утвердительно кивнул, и Фрикс во второй раз прочел ответ Пифии:

«Время придет – и железные полчища ринутся
Со снежных высот на долину потока великого,
В утлой ладье ты пристанешь к желанному берегу,
Мир и покой обретут твои ноги усталые,
Пятеро судей даруют бездомному страннику
То, в чем ему было так долго, так долго отказано».

Едва Фрикс проговорил последнее слово, как афинянин Каллиас вскочил и в глубоком волнении обратился к Аристомаху:

– Теперь ты получишь от меня четвертый дар богов в этом доме. Я откладывал свою редкую новость до последнего. Знай же, персы идут в Египет!

Ни один из гостей, кроме сибарита, не остался на своем месте, и Каллиас едва успевал отвечать на множество вопросов.

– Тише, тише, друзья! – не выдержал он наконец. – Дайте мне рассказать по порядку, иначе я никогда не дойду до конца! Большое посольство Камбиса, нынешнего великого царя всемогущей Персии, а не войско, как подумал ты, Фанес, находится в пути. Из Самоса я получил известие, что это посольство прибыло уже в Милет. Через несколько дней оно должно быть здесь. В числе лиц, составляющих его, находится родственник царя и даже старый Крез, царь

Лидийский; мы увидим редкое великолепие! Цель их посольства не известна никому, однако же полагают, что царь Камбиз хочет предложить союз Амазису; говорят даже, что будто бы великий царь желает жениться на дочери фараона.

– Союз? – спросил Фанес, недоверчиво пожимая плечами. – Персы и так обладают сейчас половиной мира. Все великие державы Азии покорились их скипетру; завоеватель падит пока еще только Египет и родину эллинов.

– Ты забываешь золотую Индию и великие кочующие народы Азии, – возразил Каллиас. – Далее, ты забываешь, что империя, составленная таким образом из семидесяти народностей с различными языками и нравами, сама в себе носит и все более и более питает зародыш войны и должна остерегаться внешних войн, чтобы, во время отсутствия главной массы войска, отдельные провинции не воспользовались желанным случаем к отпадению. Спроси милетцев, остались ли бы они спокойными, если бы могущество их поработителей потерпело урон в какой-нибудь битве?

Феопомп, купец из Милета, с живостью прервал Каллиаса:

– Если бы персы потерпели поражение в какой-нибудь войне, то на их голову обрушилось бы много других войн, и мое отечество не последним восстало бы против ослабленных властителей!

– Какую бы цель ни преследовали эти послы, – продолжал Каллиас, – я настаиваю на своем известии, что самое большее через три дня они будут здесь.

– И таким образом исполнится предсказание твоего оракула, Аристомах! – воскликнула Родопис. – Железными полчищами с гор не может быть никто, кроме персов. Когда они придут к городам Нила, то измените образ мыслей у пяти судей, ваших эфоров, и тебя, отца двух олимпийских победителей, призовут обратно в отечество. Наполни снова кубки, Кнакиас! Выпьем этот последний кубок за тень знаменитого Лизандра, и затем, хотя и неохотно, я расстанусь с вами до завтра. Хозяин, любящий своих гостей, все-таки должен прекратить пир, когда волны веселия достигнут своей наибольшей высоты. Приятное, ничем не возмущенное воспоминание скоро приведет вас в этот дом снова, между тем как вы без удовольствия посетили бы его, если бы вам пришлось вспоминать о часах утомления, следовавших за шумным весельем.

Все гости согласились с хозяйкой, и Ивик назвал ее истинной ученицей Пифагора, прославляя торжественно-радостное оживление вечера.

Все стали собираться домой. Сибарит, желавший заглушить весьма неприятное для него волнение, и пил очень неумеренно, также поднялся со своего места, опираясь на призванных рабов, заплетающимся языком болтая что-то о нарушении законов гостеприимства.

Когда, при прощании, Родопис хотела подать ему руку, то он, отуманенный винными парами, воскликнул:

– Клянусь Геркулесом, Родопис, ты выбрасываешь нас за дверь, точно назойливых кредиторов. Я не привык к тому, чтобы уходить с пира, пока еще держусь на ногах, а еще менее – к тому, чтобы мне указывали на дверь, точно какому-нибудь паразиту!

– Пойми же ты, невоздержанный кутила... – собиралась с улыбкою оправдаться Родопис, но Филоин, раздосадованный в своем опьянении этим возражением хозяйки, насмешливо захохотал и, неверными шагами направляясь к двери, вскричал:

– Ты называешь меня невоздержанным кутилой? Хорошо! Я назову тебя бесстыдной рабой! Клянусь Дионисом, в тебе еще до сих пор заметно, чем ты была в своей юности. Прощай, раба Ядмона и Ксанфа, вольноотпущенница Харакса!

Не успел он договорить, как на него внезапно бросился спартаец, сбил его с ног сильным ударом кулака и снес обеспамятевшего, точно ребенка, в лодку, ожидавшую вместе с рабами сибарита у садовой калитки.

Глава третья

Все гости покинули дом.

Подобно граду, павшему на цветущую ниву, обрушилась брань сибарита на радостное настроение прощавшихся собеседников; сама Родопис стояла бледная и дрожащая в по-праздничному украшенной комнате. Кнакиас погасил пестрые лампы на стенах. Вместо яркого света разлился неприятный полумрак, едва освещавший беспорядочно наваленную посуду, остатки кушаний и сдвинутые с места скамьи. В открытую дверь врывался холодный воздух, так как уже начинало рассветать, а перед солнечным восходом в Египте бывает холодно. По телу легко одетой женщины пробежала дрожь. Без слез блуждали ее глаза по опустевшей комнате, еще за несколько минут перед тем наполненной весельем и ликованьем. Она сравнивала свое душевное состояние с этой опустевшей залой пиршества. Ей казалось, что червь грызет ее сердце, и кровь ее превращается в снег и лед.

Так она стояла долгое время, пока не явилась ее старая рабыня, с лампой в руке, за которой она ходила в спальню.

Молча позволила Родопис раздеть себя, молча отдернула занавес, отделявший ее спальню от другой. Посреди второй спальни стояла кровать из кленового дерева, и на ней, на тюфяке из нежной овечьей шерсти, покрытом белыми простынями, под светло-голубыми одеялами покоилось очаровательное существо.

Это была Сафо, внучка Родопис. Эти нежные, пышные формы, это личико с тонкими чертами принадлежали расцветающей девушке, а блаженная, спокойная улыбка – беззаботному, счастливому ребенку.

Одна рука, на которой покоилась прелестная головка спящей, скрывалась в массе густых, темно-каштановых волос; другая слегка придерживала маленький амулет из зеленого камня, висевший на шее. Длинные ресницы закрытых глаз едва заметно шевелились, а щеки спящей были покрыты нежным розовым румянцем. Тонкие ноздри расширялись при ровном дыхании. Так изображают невинность, так улыбается мечтательное спокойствие, такой сон ниспосылают боги беспечному юношескому возрасту.

Неслышно ступая на кончиках пальцев, Родопис осторожно приблизилась к этому ложу по толстому ковру. С невыразимой нежностью вглядывалась она в улыбавшееся детское личико, тихо и безмолвно опустилась на колени перед кроватью, осторожно прижалась лицом к мягким одеялам, так что рука девушки касалась ее волос. Затем она беззвучно заплакала, точно хотела слезами смыть с себя оскорбление, которому подверглась сегодня, а с ним и всю тоску, накопившуюся в душе.

Наконец она встала, запечатлела легкий поцелуй на челе спящей, с молитвой подняла руки к небу и вернулась на свою половину так же тихо и осторожно, как вошла сюда.

У своего ложа она нашла старую рабыню, все еще ожидавшую ее.

– Зачем ты сидишь здесь в такую позднюю пору, Мелитта? – проговорила она тихо и ласково. – Поди, ложись спать, ты знаешь, что ты более не нужна мне. Прощай, не приходи завтра прежде, чем я позову тебя. Я, кажется, не скоро засну и потому буду рада, если утро принесет мне сон на короткое время.

Рабыня медлила; видно было, что она хочет что-то сказать, но не решается.

– Ты, вероятно, хочешь о чем-нибудь просить меня? – спросила Родопис.

Старуха все еще стояла в нерешимости.

– Говори же, говори, но только поскорей!

– Я видела, как ты плакала, – заговорила рабыня, – ты, кажется, огорчена или нездорова; не могу ли я остаться на ночь при тебе? Скажи мне, что мучит тебя? Ты уже не раз испытывала, что, поделившись горем, облегчаешь свою грудь и уменьшаешь самое горе. Доверь мне

и сегодня свою печаль; это облегчит тебя и, может быть, возвратит тебе утраченное душевное спокойствие.

– Нет, я не могу говорить, – возразила Родопис. Затем она продолжала, горько улыбаясь: – Я снова убедилась, что ни одно божество не в состоянии изгладить прошлое человека и что несчастье и позор неразделимы! Прощай, оставь меня, Мелитта!

В полдень следующего дня та же самая барка, которая в предыдущий вечер привезла афинянина и спартанца, остановилась у сада Родопис.

Солнце светило так ярко и радостно с чистого темно-голубого египетского неба, воздух был так прозрачен, жуки жужжали так весело, лодочники на барках так громко распевали свои песни, берег Нила был так цветущ, так пестрел флагами и кишел людьми; пальмы, сикоморы, акации и бананы зеленели и цвели так великолепно, природа выглядела так богато одаренной щедрым божеством, – что путник мог бы подумать, что из этих равнин изгнано всякое несчастье, что именно здесь местопребывание всякой радости и веселья.

Как часто, проезжая мимо деревеньки, скрытой среди цветущих плодовых деревьев, мы представляем себе, что она должна быть прибежищем мира, сердечной доброты и благополучия. Но стоит нам войти в отдельные хижины – и мы найдем в них, как и повсюду, страх и нужду, желания и страсти, опасения и раскаяния, тоску и горе, и – увы! – так мало радостей! Кто, прибыв в Египет, мог догадаться, что улыбающаяся плодородная страна солнца, небо которой никогда не заволакивается тучами, питает людей, склонных к угрюмости и ожесточению? Кому могло прийти в голову, что в прелестном, обвитом цветами гостеприимном доме счастливой Родопис бьется сердце, удрученное глубоким горем? Кто из гостей всеми превозносимой фракиянки мог догадаться, что это сердце принадлежит старухе, на лице которой всегда виднелась очаровательная улыбка?

Бледная, но, как всегда, прекрасная и приветливая, сидела она вместе с Фанесом в тенистой беседке около прохладной струи фонтана. Видно было, что она плакала. Афинянин держал ее за руку и как мог, старался утешить.

Родопис терпеливо слушала его, иногда улыбаясь то с горечью, то с видом одобрения. Наконец она прервала доброжелательного друга и сказала:

– Благодарю тебя, Фанес! Рано или поздно этот позор должен быть забыт. Время – хороший врач. Если бы я была слаба характером, то покинула бы Наукратис и стала бы жить в уединении, только для своей внучки. В этом молодом создании, повторяю тебе, дремлет целый мир. Тысячу раз собиралась я покинуть Египет, но тысячу раз побеждала в себе этот порыв. Меня удерживало вовсе не желание принимать поклонение от людей твоего пола; на мою долю выпало его столько, что я уже давно пресытилась им. Меня, слабую, когда-то презираемую рабу, удерживало и удерживает сознание, что я могу принести некоторого рода пользу и даже иногда быть необходимой свободным благородным людям. Привыкнув к деятельности в обширном мужском кругу, я не могла бы довольствоваться заботой об одном любимом существе; я засохла бы, подобно растению, пересаженному в пустыню из плодородной почвы, и моя внучка вскоре осталась бы совершенно одинокой в мире, троекратной сиротой. Я остаюсь в Египте!

Теперь, после твоего отъезда, я буду действительно необходима нашим друзьям. Амазис стар; если ему наследует Псаметих, то нам придется столкнуться с большими трудностями, от которых до сих пор мы были избавлены. Я должна остаться и продолжать борьбу за свободу и благосостояние эллинов. Такова цель моей жизни. Этой цели я останусь верна тем более, чем реже женщина осмеливается посвящать свою жизнь подобным целям. Пусть мои стремления называют не женскими. В эту ночь, проведенную в слезах, я почувствовала, что во мне есть еще бесконечно много женской слабости, составляющей в одно и то же время счастье и несчастье моего пола. Сохранить в моей внучке эту слабость, соединенную со значительной степенью нежной женственности, было первой моей задачей; второй же было – сбросить с себя самой

всякую мягкость. Но нет возможности одержать победу над собственной природой, не потерпев поражения. Если меня подавляет горе, и я готова предаться отчаянию, то единственное мое лекарство – вспоминать о лучшем из людей, моем друге Пифагоре и его словах: «Сохраняй соразмерность во всем, избегай как шумной радости, так и громких сетований, и старайся сохранить твою душу столь же гармоничной и благозвучной, как струны хорошо настроенной арфы!» Этот пифагоровский душевный мир, это глубокое нерушимое спокойствие духа я ежедневно вижу в моей Сафо; но я сама стремлюсь к нему, вопреки неоднократному вмешательству судьбы, которая насильственно расстраивает струны моего сердца. Теперь я спокойна! Ты не можешь себе представить, какое огромное влияние имеет на меня одна мысль об этом великом философе, об этом спокойном, сдержанном человеке. Воспоминание о нем проносится над моим существованием подобно мягкому и вместе с тем оживляющему звуку. Ты также знаком с ним и должен понимать меня. Теперь я прошу тебя высказать твою просьбу. Мое сердце так же спокойно, как волны Нила, который так мирно катит мимо нас свои прозрачные волны. Хорошее или дурное скажешь ты, – я готова тебя выслушать.

– Вот такой ты нравишься мне, – проговорил афинянин. – Если бы ты ранее подумала о благородном друге мудрости, – как Пифагор имел привычку называть себя, – то твоя душа уже вчера обрела бы свое прекрасное равновесие. Учитель требует, чтобы мы каждый вечер проверяли в своем уме события, чувства и мысли протекшего дня. Если бы ты сделала это, то сказала бы себе, что непритворное удивление всех твоих гостей, между которыми находилось много мужей, славных своими заслугами, в тысячу раз перетягивает брань пьяного развратника; ты должна была бы чувствовать себя любимицей богов, так как в твоём доме бессмертные ниспослали благородному старику величайшее счастье, которое может выпасть на долю человека после многих лет невзгод; наконец, они, лишив тебя друга, тотчас же даровали тебе другого, более достойного. Не противоречь мне и позволь высказать теперь мою просьбу.

Ты знаешь, что меня называют то афинянином, то галикарнасцем. Ионийские, дорийские и эолийские наемники с давних времен не ладили с карийскими; поэтому мне, предводителю обеих частей, в особенности было полезно мое, так сказать, двойственное происхождение. Какими прекрасными качествами ни обладал бы Аристомах, но Амазис все-таки почувствует мое отсутствие. Мне без труда удавалось восстанавливать согласие между наемниками, между тем как для спартанца встретятся большие затруднения относительно карийцев.

Это мое двойственное происхождение имеет следующую причину. Отец мой женился на галикарнаске из благородного дорического рода и, для получения наследства после ее родителей, проживал в Галикарнасе, именно в то время, как я родился.

Хотя меня увезли в Афины уже на третьем месяце жизни, но я, собственно, кариец, так как местом рождения определяется отечество человека.

В Афинах я, в качестве юного эвпатрида, сына благородного отца, из знатного древнего рода Аякса, был вскормлен и воспитан во всей гордости аттического аристократа. Храбрый и мудрый Писистрат, принадлежавший к семье, равной нам, но несколько не знатнее нас по происхождению (более знатного рода, чем род моего отца, не существует), сумел овладеть верховной властью. Соединенными усилиями аристократии удалось дважды низвергнуть его. Когда он захотел возвратиться в третий раз, при помощи Лигдамиса Никсосского, аргосцев и эретрийцев, то мы воспротивились ему. Мы расположились лагерем у храма Афины в Паллене. Когда мы перед завтраком приносили жертву богине, умный правитель невзначай напал на нас, бросился на наше безоружное войско и одержал легкую, несколько не кровавую победу. Так как мне была доверена половина всего враждебного тирану войска, то я решился скорее умереть, чем отступить. Я боролся всеми силами, заклинал воинов держаться и сам не отступал ни на шаг, но, наконец, упал, пронзенный копьем в плечо.

Писистратиды сделались властителями в Афинах. Я бежал в Галикарнас, свое второе отечество, куда за мной последовала жена с нашими детьми, получил приглашение занять место

главного начальника наемников в Египте – так как мое имя стало известно, вследствие моей пифийской победы и смелых военных подвигов, – участвовал в Кипрском походе, разделил с Аристомахом его славу при завоевании для Амазиса родины Афродиты и, наконец, сделался верховным начальником всех наемников в Египте.

Моя жена скончалась прошлым летом; дети – мальчик одиннадцати и девочка десяти лет остались у своей тетки в Галикарнасе. Но и ее постигла неумолимая смерть. Итак, я несколько дней тому назад сделал распоряжение о том, чтобы малюток привезли сюда; но они не могут прибыть в Наукратис раньше чем через три недели и, вероятно, уже отправились в путь, так что вторичное распоряжение уже не застанет их.

Через две недели я должен покинуть Египет и поэтому не могу сам встретить детей.

Я решил отправиться во фракийский Херсонес, куда мой дядя, как тебе известно, призван племенем Долонков. Пусть туда отправятся и дети. Коракс, мой старый, верный раб, останется в Наукратисе, чтобы привезти ко мне малюток.

Если ты хочешь доказать свою дружбу ко мне, то прими моих детей и присмотри за ними до тех пор, пока во Фракию не отправится какой-либо корабль, и скрой их заботливо от взгладов шпионов наследника престола, Псаметиха. Ты знаешь, что он смертельно ненавидит меня и легко может отомстить отцу посредством детей. Я прошу у тебя этой великой милости, во-первых, потому, что знаю твою доброту; а во-вторых, потому, что твой дом, вследствие грамоты фараона, может служить убежищем, где мои дети будут защищены от вмешательства стражников порядка, которые в этой стране формальностей предписывают объявлять должностным лицам округа о каждом вновь прибывшем иноземце, не исключая детей.

Ты видишь, как глубоко я уважаю тебя, я передаю тебе единственное сокровище, заставляющее меня дорожить жизнью. Даже отечество не дорого мне, пока оно позорно преклоняется перед тираном. Желаешь ли ты возратить спокойствие встревоженному сердцу отца? Желаешь ли?...

– Я согласна на все, Фанес! – воскликнула Родопис с непритворной сердечной радостью. – Ты ни о чем не просишь меня, а делаешь мне подарок. О, как я рада малюткам! И в каком восторге будет Сафо, когда приедут милые создания и оживят ее одиночество! Но я наперед говорю тебе, Фанес, что ни в каком случае не допущу, чтобы мои маленькие гости отплыли на первом фракийском корабле! Уж на какие-нибудь полгода ты можешь расстаться с ними; я ручаюсь тебе, что их будут отлично образовывать здесь и приучать ко всему доброму и прекрасному.

– Об этом-то я бы не стал беспокоиться, – возразил Фанес с благодарной улыбкой, – но я все-таки настаиваю на том, чтобы ты отправила их с первым кораблем. Мои опасения относительно мести Псаметиха, к сожалению, слишком основательны. Поэтому уже заранее прими сердечную благодарность за твою любовь и доброту к моим детям. Впрочем, я сам думаю, что они будут приятным развлечением для твоей Сафо в ее одиночестве.

– А затем, – прервала его Родопис, опустив глаза, – доверие, оказываемое благородным человеком моим материнским добродетелям, дает мне право не думать более о сраме, причиненном мне пьяным кутилой! Но вот идет Сафо!

Глава четвертая

Пять дней спустя после вечера в доме Родопис громадное стечение народа наблюдалось у гавани в Саисе. Египтяне всех возрастов, званий и полов стояли густой массой на берегу.

Воины и купцы в белых, украшенных пестрой бахромой одеждах, длина которых соответствовала более высокому или низкому общественному положению каждого, смешались с большой толпой мускулистых полунагих мужчин, единственное платье которых состояло из передника, одежды человека низкого звания. Нагие дети толпились, толкались и дрались, чтобы захватить лучшее место. Матери, в коротких накидках, высоко поднимали на руках своих малюток, хотя из-за этого лишали себя самих ожидаемого зрелища. Множество собак и кошек дрались у ног охотников до зрелищ, двигавшихся весьма осторожно, чтобы ненароком не наступить на какое-нибудь из священных животных или не поранить их.

Стражники, вооруженные длинными палками, на медных набалдашниках которых виднелось имя фараона, заботились о порядке и спокойствии, в особенности же о том, чтобы, вследствие напора стоящих сзади, никто не был сброшен в сильно вздувшийся рукав Нила, во время наводнения омывавшего стены Саиса, – опасение, во многих случаях оказавшееся основательным.

На широкой береговой лестнице, украшенной сфинксами и служившей пристанью баркам фараона, виднелось собрание другого рода.

Здесь, на каменных скамьях, восседали знатнейшие из жрецов. Многие из них были облечены в длинные белые одежды, другие – в передники, драгоценные перевязи, широкие шейные украшения и шкуры пантер. Одни носили головные, разукрашенные перьями, повязки, прилежавшие ко лбу, вискам и пышным фальшивым локонам, которые спускались до самой спины, другие щеголяли блестящей наготою своих тщательно выбритых черепов. Среди всех главный судья отличался самым богатым и пышным страусовым пером на головном уборе и драгоценным амулетом из сапфира, висевшим на золотой цепочке на груди.

Начальники египетского войска были одеты в пестрое военное платье и имели при себе короткие мечи на перевязях. Часть охранной стражи фараона, вооруженная боевыми секирами, кинжалами, луками и большими щитами, стояла по правую сторону лестницы; по левую стояли греческие наемники в ионийском вооружении. Их новый предводитель, хорошо известный нам Аристомех, стоял отдельно от египтян, с несколькими младшими греческими начальниками, около колоссальных статуй Псаметиха I, воздвигнутых на площадке перед лестницей и обращенных лицом к реке. Перед ними сидел на серебряном седалище наследник престола Псаметих, в пестром, затканном золотом костюме, плотно прилежавшем к его фигуре. Он был окружен знатнейшими царедворцами, советниками и друзьями фараона, имевшими в руках трости со страусовыми перьями и золотыми цветами лотоса.

Народная толпа уже давно заявляла о своем нетерпении криками, песнями и пронзительными восклицаниями; жрецы и аристократия у лестницы, напротив, держали себя с достоинством, храня молчание. Все они в размеренной сдержанности движений, со своими негнушавшимися, завитыми в локоны париками и накладными, правильно подвитыми бородами имели совершенное сходство с теми статуями, которые неподвижно и серьезно покоились на своих местах, пристально глядя на реку.

Но вот показались вдали шелковые паруса голубого и пурпурно-красного цветов в клетку.

В народе послышались восклицания восторга. Раздавались крики: «Они едут, вот они!» – «Будь осторожен, не наступи на кошку». – «Кормилица, держи девочку повыше, чтобы и она увидела что-нибудь!» – «Ты еще сбросишь меня в воду, Зебек!» – «Посмотри-ка, финикиянин, мальчишки бросают тебе в бороду колючие шишки!» – «Ну, ну, эллин, ты не должен вообра-

жать, что Египет принадлежит только тебе одному, потому только, что Амазис позволяет вам жить на берегах священной реки!» – «Бессовестные сволочи эти греки! Долой их!» – закричал храмовый прислужник. «Долой свиноедов, презирающих богов!» – раздалось повсюду кругом.

Дело стало клониться к драке, но стражники не позволяли шутить с собой и, энергично работая палками, вскоре водворили мир и тишину. Большие пестрые паруса, – явно отличавшиеся от сновавших вокруг них парусов голубых, белых и коричневых, принадлежавших нильским судам меньшего размера, – все более и более приближались к ожидавшей толпе. Теперь встали со своих мест даже сановники и наследник престола.

Хор трубачей фараона разразился веселыми резкими звуками, и первое из ожидаемых судов остановилось на пристани у лестницы.

Довольно продолговатое судно было покрыто богатой позолотой и имело на носу серебряное изображение орла. Посреди барки возвышался золотой балдахин с пурпурным навесом. Под ним длинные диваны были приготовлены для сидения. На передней части судна сидело по обоим бортам по двенадцати гребцов, работавших веслами; их передники придерживались богатыми помочами. Под балдахином лежало шесть человек, пышно одетых и знатных на вид. Прежде чем барка пристала к берегу, младший из пассажиров, с роскошными белокурыми вьющимися волосами, выпрыгнул на лестницу.

При виде его у многих египетских девушек вырвалось невольное восклицание удивления, и даже серьезные лица некоторых сановников осветились благосклонной улыбкой.

Человек, возбуждивший такой восторг, назывался Бартия и был сыном умершего и братом царствовавшего персидского царя. Природа дала ему все, чего может желать себе двадцатилетний юноша.

Из-под голубой с белым повязки, обвивавшей его тюрбан, пышными прядями рассыпались густые золотисто-белокурые волосы; в его голубых глазах светились энергия, веселье, доброта, смелость и даже высокомерие; его благородное лицо, опушенное едва пробивавшейся бородой, было достойно резца греческого художника; его стройная, мускулистая фигура показывала большую силу и ловкость. Великолепие его одежды равнялось его красоте. Посреди его тюрбана блестела большая звезда из бриллиантов и бирюзы. Спускавшаяся до колен верхняя одежда из тяжелой золотой парчи придерживалась на боках перевязью, голубою пополам с белым (это были цвета персидского царского дома). К ней был прикреплен короткий золотой меч, рукоятка и ножны которого были густо усыпаны белыми опалами и бирюзой. Шаровары, плотно обхватывающие щиколотку, были также сделаны из золотой парчи и засунуты в невысокие светло-голубые кожаные башмаки.

Сильные, обнаженные руки, видневшиеся через широкие рукава одежды, были украшены несколькими драгоценными золотыми браслетами с бриллиантами. Со стройной шеи спускалась на высокую грудь золотая цепь. Этот юноша первым выпрыгнул на причал. За ним последовал Дарий, сын Гистаса, знатный молодой перс царской крови, подобно Бартии, только одетый немного проще его. Третьим был старик с седыми волосами, на приветливо-серьезном лице которого можно было прочесть добродушие ребенка, опытность старика и ум мужа. Он был одет в длинную пурпурную одежду с рукавами и обут в желтые лидийские сапоги. Вся его наружность производила впечатление совершенного отсутствия претензий, а между тем этот простой с виду старик был, за несколько лет перед тем, человеком, которому завидовали больше всех и именем которого мы через две тысячи с лишком лет называем самых богатейших людей. Это был Крез, низвергнутый с престола лидийский царь, живший в то время как друг и советник при дворе Камбиза и, в качестве ментора, сопровождавший в Египет молодого Бартию.

За ним последовали Прексасп, посланник персидского царя, Зопир, сын Мегабиза, благородный перс, друг Бартии и Дария; наконец, появился стройный, бледнолицый сын Креза

– Гигес, который, сделавшись немым на четвертом году от рождения, снова заговорил, вследствие смертельного страха за отца, который он испытал во время взятия Сардеса.

Псаметих спустился со ступеней навстречу гостям. Он старался вызвать любезную улыбку на свое желтоватое суровое лицо. Сановники, следовавшие за ним, склонились почти до земли перед чужеземцами, вместе с тем опустив руки вниз. Персы скрестили руки на груди и пали ниц перед наследником престола. Когда окончились первые формальности, Бартия, к великому удивлению народа, не приученного к подобному зрелищу, по обычаю своей родины поцеловал желтую щеку египетского принца, слегка содрогнувшегося от прикосновения нечистых уст чужеземца, и отправился со своими проводниками к ожидавшим их носилкам, в которых их надлежало доставить в помещение, приготовленное для них во дворце Саиса.

Часть народа бросилась вслед за иностранцами; но большинство зрителей остались на прежних местах, так как они знали, что их ожидало еще не одно никогда не виданное ими зрелище.

– Неужели ты хочешь бежать за разряженной обезьяной и другими детьми Тифона? – спросил недовольный храмовый служитель своего соседа, честного сайтского портного. – Говорю тебе, Пугор, да и верховный жрец сказал, что эти чужеземцы не принесут стране ничего, кроме пагубы! Куда исчезло старое доброе время, когда ни один чужеземец, которому была дорога жизнь, не смел ступить на египетскую почву! Теперь наши улицы переполнены лживыми евреями, в особенности этими бесстыдными эллинами, которых да уничтожат боги! Посмотрите-ка, вон уже подходит третья барка, наполненная иноземцами. И знаешь ли ты, кто эти персы? Верховный жрец говорил, что во всем их государстве, которое по обширности равняется половине мира, нет ни одного храма для богов; мумии же своих покойников, вместо почетного погребения, они отдают на растерзание собакам и коршунам!

Портной обнаруживал сильное удивление и еще более сильное негодование; потом он указал пальцем на лестницу у пристани и сказал:

– Клянусь сыном Исиды, Гором, уничтожившим Тифона, вот уже пристаёт к берегу шестая барка, наполненная иноземцами!

– Да, это плохо! – вздыхая, проговорил храмовый служитель. – Право, можно подумать, что собирается целое войско. Амазис будет распоряжаться таким образом до тех пор, пока иноземцы не лишат его трона и не изгонят из государства, а нас, бедных, не обратят в рабов и не разорят, как когда-то сделали злые гиксосы – люди чумы и черные эфиопы.

– Седьмая барка! – воскликнул портной.

– Пусть найдет на меня гибель моя повелительница Нейт, великая богиня Саиса, – сетовал служитель храма, – но я не в состоянии понять фараона. Он отправил в богомерзкое гнездо Наукратис целых три грузовых барки для поклажи и прислуги персидских послов; но вместо этих трех пришлось приготовить восемь лодок, потому что, вместе с кухонной посудой, собаками, лошадьми, колесницами, ящиками, корзинами и тюками, эти безбожники и ненавистники покойников за тысячу миль повезли с собою целое полчище слуг. Говорят, что между ними есть такие, которые не делают ничего, только плетут венки и готовят мази. Они также привезли своих жрецов, которых называют магами. Хотелось бы мне знать, зачем им эти праздношатающиеся? К чему жрецы, если нет богов и храмов?

Престарелый фараон Амазис Египетский принял персидское посольство вскоре по его прибытии, со всею ему свойственною любезностью. Спустя четыре дня он, окончив свои занятия, которым обыкновенно посвящал без исключения каждое утро, отправился прогуляться в дворцовом саду со стариком Крезом, между тем как прочие персияне отправились, в сопровождении наследника престола, на речную прогулку по Нилу в Мемфис.

Дворцовый сад, устроенный с царским великолепием, но все-таки в плане имевший сходство с садом Родопис, находился вблизи дворца фараона, расположенного на холме, на северо-западной стороне города.

Старики уселись в тени развесистой смоковницы неподалеку от огромного бассейна из красного гранита, в который лилась обильными струями прозрачная вода из широко раскрытой пасти черных базальтовых крокодилов.

Лишенный престола фараон, несколькими годами старше могущественного властителя, сидевшего рядом с ним, был на вид гораздо свежее и крепче последнего. Спина высокого ростом Амазиса была согнута, опорой его крепкому туловищу служили слабые и худые ноги; его красивое лицо было покрыто морщинами. В маленьких, блестящих глазах светился бодрый ум, а на его слишком полных губах постоянно играла веселая, а иногда и насмешливая улыбка. Низкий, но широкий лоб старика и его большой, прекрасно сформированный череп свидетельствовали о силе его ума; изменчивый цвет его глаз заставлял предполагать, что остроумие и страстность не чужды этому удивительному человеку, который из простого воина возвысился до престола фараонов. Его язык был резок и груб, а его движения, в противоположность сдержанным манерам других лиц, составлявших египетский двор, казались почти судорожными, но оживленными.

Манеры же соседа были приятны и вполне достойны царя. Во всей его личности проглядывало, что он находился в частых сношениях с лучшими людьми Греции. Фалес, Анаксимен Милетский, Биант Приенский, Солон Афинский, Питтак Лесбосский, знаменитейшие на весь мир греческие мудрецы, в лучшие времена появлялись при Сардесском дворе Креза в качестве гостей. Его полный, ясный голос в сравнении с резким голосом Амазиса звучал точно пение.

– Теперь скажи мне откровенно, – довольно бегло заговорил фараон по-гречески, – как понравился тебе Египет? Я не знаю никого, чье мнение казалось бы мне столь дорогим, как твое, потому что, во-первых, ты знаком с большей частью народов и стран мира; во-вторых, боги судили тебе подняться вверх по лестнице и снова спуститься по ней вниз; в-третьих, ты не напрасно был первым советником могущественнейшего из всех царей. Мне бы хотелось, чтобы мое царство понравилось тебе в такой степени, чтобы ты согласился остаться при мне в качестве брата. Право, Крез, ты уже давно друг мне, хотя только вчера боги дали мне увидеть твое лицо!

– А ты – мой друг, – прервал его лидиец. – Я удивляюсь мужеству, с которым ты, вопреки всем окружающим тебя, умеешь осуществить то, что признаешь хорошим; я благодарен тебе за благосклонность, с которой ты относишься к моим друзьям-эллинам. Я считаю тебя своим родственником по сходству нашей судьбы, потому что и ты испытал на себе все благополучие и горе, могущее встретиться в жизни!

– С той разницей, – улыбаясь заметил Амазис, – что мы начали с различных концов. На твою долю сперва выпало хорошее, а потом дурное; со мною же случилось наоборот; то есть если я предположу, – задумчиво прибавил он, – что я доволен своим настоящим счастьем.

– А я, – возразил Крез, – если сознаюсь, что страдаю от своего так называемого несчастья.

– А как же могло быть иначе после утраты таких огромных сокровищ?

– Разве счастье зависит от обладания? – спросил Крез. – И разве, вообще, счастье есть обладание? Счастье есть представление, чувство, даруемое завистливыми богами неимущему чаще, нежели могущественному. Ясный взгляд последнего ослепляется блистательными сокровищами, и он всегда должен страдать от неудач, так как он, в осознании своей возможности достигнуть многого, постоянно терпит поражение в борьбе за обладание всеми благами, которыми он желает обладать и которых не может достигнуть.

Амазис вздохнул и сказал:

– Я бы желал быть в состоянии не согласиться с тобой, но когда вспомню о своем прошлом, то должен сознаться, что с того самого часа, который принес мне так называемое счастье, начались великие заботы, тяготящие мою жизнь.

– Уверяю тебя, – перебил его Крез, – что я благодарен тебе за твою запоздавшую помощь, так как минута невзгод впервые доставила мне чистое, истинное счастье. Когда первые персы

взошли на стены Сардеса, я проклинал самого себя и богов, жизнь казалась мне ненавистной и существование – проклятием. Сражаясь, отступал я вместе со своими, предаваясь отчаянию. Тут персидский солдат поднял меч над моею головою, мой сын схватил убийцу за руку, и, впервые после многих лет, я снова услышал его голос из уст, разверзшихся от ужаса. Мой немой сын Гигес в ту жуткую минуту снова обрел дар слова, и я, проклинавший богов, преклонился перед их могуществом. У раба, которому я приказал убить меня, как только я попаду в плен к персам, я отнял меч. Я сделался другим человеком и мало-помалу сумел победить постоянно пробуждавшееся во мне озлобление против своей судьбы и моих благородных врагов. Ты знаешь, что я, наконец, сделался другом Кира, что мой сын мог расти подле меня свободным человеком и вполне владея своим языком. Все, что я видел, слышал и передумал прекрасного в течение своей долголетней жизни, я собрал, чтобы передать ему; теперь он сделался моим государством, моей короною, моей сокровищницею. Видя наполненные заботою дни и бессонные ночи Кира, я со страхом вспоминал прежнее свое величие и могущество и все с большей ясностью понимал, где следует искать истинное счастье. Каждый из нас носит скрытый зародыш его в своем сердце. Довольное, терпеливое настроение, ощущающее сильную радость при виде прекрасного и великого, но не оставляющее без внимания и мелких явлений, принимает страдание без жалоб и услаждает их воспоминаниями. Сохранение меры во всех вещах, твердое упование на милость богов и уверенность, что все, даже самое худшее, должно пройти, так как все подвергается изменению, – все это способствует созреванию зародыша счастья, скрытого в нашей груди, и дает нам силу с улыбкой относиться к тому, вследствие чего человек неподготовленный впал бы в уныние и отчаяние.

Амазис внимательно слушал, чертя на песке фигуры золотым набалдашником своей палки, на котором была изображена собачья голова, потом сказал:

– Поистине, Крез, я, «великий бог», «солнце справедливости», «сын Нейт», «повелитель военной славы» (титуты, даваемые мне египтянами), готов завидовать тебе, ограбленному и низверженному с трона. Некогда я был счастлив, как ты теперь, весь Египет знал меня, бедного сына сотника, благодаря моей веселости, плутовским проделкам, легкомыслию и задору. Простые солдаты носили меня на руках; начальники многое во мне находили достойным порицания, но безумному Амазису все сходило с рук; мои товарищи, младшие командиры в войске, не умели веселиться без меня. Но вот мой предшественник Хофра отправил нас в поход против Кирены. Изнемогая в пустыне, мы отказывались идти далее. Подозрение – будто фараон хочет принести нас в жертву эллинским наемникам, переросло в открытое восстание. Я, по обыкновению шутя, воскликнул, обращаясь к друзьям: «Ведь без фараона вы не обойдетесь, так сделайте меня своим повелителем; более веселого вы не найдете нигде!» Солдаты услышали эти слова. «Амазис хочет быть фараоном!» – пробежало по рядам, от одного к другому. «Добрый, счастливый Амазис пусть будет нашим фараоном!» – этим восклицанием встретили меня через несколько часов. Один из товарищей по кутежам надел на меня шлем главнокомандующего; я превратил шутку в серьезное дело, большинство солдат оказалось на моей стороне, и мы разбили Хофру при Мемфисе. Народ присоединился к заговору. Я взошел на престол. Меня называли счастливым. Будучи до тех пор другом египтян, я теперь сделался врагом лучших из них. Жрецы поклонялись мне и приняли меня в свою касту, но только потому, что надеялись управлять мною совершенно по своему произволу. Мои прежние начальники завидовали мне или же хотели обращаться со мною по-прежнему. Ты понимаешь, что это не согласовалось с моим новым званием и могло бы ослабить внушаемое мною уважение; поэтому я однажды показал пировавшим у меня начальникам войска, захотевшим снова без церемонии шутить со мною, золотой таз, в котором им омывали ноги перед началом пиршества. Спустя пять дней, когда они снова пировали у меня, я приказал поставить на изукрашенный стол золотую статую великого бога Ра. Едва только увидели ее, они пали ниц, чтобы поклониться ей. Когда они встали, я взял скипетр, высоко и торжественно поднял его вверх и воскликнул: «Это изобра-

жение божества художник сделал в пять дней из того ничтожного сосуда, в который вы плевали и в котором омывали ваши ноги. Я сам когда-то был подобным сосудом, но божество, умеющее творить скорее, чем золотых дел мастер, сделало меня вашим фараоном. Итак, повергайтесь ниц и поклоняйтесь мне. Отныне тот, кто окажется непослушным или забудет воздать уважение фараону, наместнику Ра на земле, будет обречен на смерть». Они пали ниц все, решительно все. Моя власть была спасена, но друзей своих я потерял. Теперь мне необходима была другая опора. Я приобрел ее в эллинах. Относительно способности к военной службе один грек стоит более пятерых египтян; это я знал очень хорошо и, основываясь на этом, решился осуществить то, что считал полезным.

Меня постоянно окружали греческие наемники. От них я научился их языку, они познакомили меня с благороднейшим человеком, которого мне когда-либо удавалось встречать, – с Пифагором. Я старался ввести у нас греческие нравы и греческий язык, так как убедился, что упорно придерживаться обратившегося в обычай худшего там, где лучшее находится под рукою и только ждет, чтобы его посеяли на египетских нивах, – просто бессмысленно.

Я правильно разделил всю страну, организовал городскую стражу, наилучшую в целом свете, и привел в исполнение многое; но моя высшая цель – ввести греческий дух, греческие формы, греческое наслаждение жизнью и свободное эллинское искусство в эти богатые и вместе с тем столь мрачные страны, – потерпела крушение на той скале, которая каждый раз, как только я предпринимаю что-либо новое, грозит мне низвержением и гибелью. Жрецы – вот моя преграда, мои противники, мои повелители. Они, с суеверным благоговением придерживающиеся всего, освященного временем; они, для которых все иноземное есть предмет ужаса и которые считают каждого иностранца естественным врагом их власти и учений, управляют набожнейшим из всех народов почти с неограниченной властью. Поэтому-то мне пришлось пожертвовать им прекраснейшими из моих планов, поэтому-то, согласно их предписаниям, моя жизнь должна проходить во всевозможных стеснениях, и я умру неудовлетворенным, будучи лишен даже уверенности – согласится ли эта негодующая гордая толпа посредников между божеством и смертными дать мне успокоение в могиле!

– Клянусь Зевсом-избавителем, бедный мой счастливец, – с участием прервал его Крез, – я понимаю твои сетования. Хотя я в течение своей жизни знал много отдельных личностей, безрадостно и мрачно проходивших жизненный путь, но я все-таки не подозревал о существовании целой породы, которой по наследству достается мрачность души, как змеям их яд. Скольких жрецов ни видал я на пути моем сюда и при твоём дворе, у всех у них я заметил мрачные лица. Даже юноши, прислуживающие тебе, улыбаются весьма редко, между тем как веселье, подобно цветам весной, принадлежит юности, как прекрасный дар божества.

– Ты бы ошибся, если бы вздумал считать мрачными всех египтян, – отвечал Амазис. – Наша религия действительно требует серьезного помышления о смерти, но ты вряд ли найдешь другой народ, более склонный к насмешливым шуткам и, в случае празднества, способный веселиться с редкостным самозабвением и размашистым разгулом. Но вид иноземцев ненавиден жрецам, и на мой союз с вами они смотрят с мрачным ропотом. Те мальчики, о которых ты упоминал, сыновья знатнейших между ними, составляют величайшую отраву моей жизни. Они служат у меня рабами и послушны малейшему знаку с моей стороны. Людей, отдающих своих детей для подобного дела, следовало бы считать самыми послушными, почтительными слугами царя, которому воздается божеское почтение, но поверь мне, Крез, именно в этой преданности, отклонить которую не в состоянии ни один властитель, не нанеся оскорбления, кроется ловкий и хитрый расчет. Каждый из этих юношей – мой сторож и наблюдатель. Я не могу шевельнуть рукой без их ведома, и каждый мой жест немедленно передается жрецам.

– Но как же ты можешь выносить подобное существование? Изгони всех соглядатаев и выбери себе слуг, например, хотя бы из касты воинов, которая может быть тебе полезной не менее жрецов!

– Если бы я только мог это сделать! – воскликнул Амазис громким голосом. Затем он продолжал тише, точно испугавшись своей горячности. – Мне кажется, что наш разговор подслушивают. Завтра прикажу вырвать с корнями вон тот финиковый куст. Юному жрецу, любителю садовых прогулок, который там срывает едва созревшие финики, нужны плоды совершенно другого рода, нежели те, которые он так медленно кладет в свою корзину. Рука собирает плоды с дерева, а ухо – слова из уст фараона.

– Но клянусь отцом Зевсом и Аполлоном...

– Я понимаю твое негодование и разделяю его; но каждое звание налагает обязанности; и, в качестве фараона этой страны, оказывающей божественное благословение всем укоренившимся нравам, я должен подчиняться, по крайней мере в главных пунктах, придворному церемониалу, существующему несколько тысяч лет. Если бы я захотел разорвать эти цепи, то могло бы случиться, что моему телу было бы отказано в погребении. Я должен сказать тебе, что жрецы назначают посмертный суд над каждым покойником и лишают могильного успокоения того, кого признают виновным. Уважение к моему сыну обеспечило бы погребение моей мумии, но каким образом отнеслись бы к моему телу те, которые стали бы совершать жертвоприношения в моей гробнице...

– Какое тебе дело до гробницы! – с негодованием перебил Крез. – Жить следует для жизни, а не для смерти!

– Скажи лучше, – возразил Амазис, поднимаясь со своего места, – что мы, разделяющие греческие понятия, считаем прекрасную жизнь за высшее благо; но, Крез, я родился от отца-египтянина, вскормлен матерью-египтянкой, вырос на египетской пище, и хотя усвоил себе кое-что эллинское, но все-таки в глубине своего существа остаюсь египтянином. То, о чем напевали тебе в детстве, что представляли святыню в юношеском возрасте, находит отголосок в твоём сердце до тех пор, пока тебя не обернут пеленами мумии. Я старик, и мне осталось недалеко идти до того пограничного камня, за которым начинается вечность. Неужели же мне, ради немногих дней жизни, портить бесконечные тысячелетия смерти? Нет, друг мой, я остался египтянином, подобно каждому из моих соотечественников, я твердо и неуклонно верю, что сохранение моего тела, вместилища души, тесно соединено с благоденствием моей второй жизни, хотя бы я и не был сочтен достойным слиться с душою мира и, сделавшись частью ее, принимать, в качестве Озириса, участие в управлении мирозданием. Но довольно об этих возвышенных вещах, открывать которые, во всей их глубине и величии, непосвященным мне запрещает великая клятва. Ответь мне лучше на мой вопрос, как нравятся тебе наши храмы и пирамиды?

Крез задумчиво отвечал:

– Каменные глыбы пирамид представляются мне созданными необозримой пустыней, пестрые колоннады храмов – произведением пышной весны; но если сфинксы, ведущие к воротам, указывают дорогу в святилище, то косые, подобные укреплениям, стены пилонов кажутся воздвигнутыми для защиты. Таким же образом и пестрые иероглифы привлекают взоры, но своею таинственностью отталкивают пытливый ум. Изображения ваших многообразных богов стоят повсюду; они неотразимо бросаются в глаза, а между тем всякий догадывается, что они означают нечто совершенно отличное от того, чему они служат изображением, что они суть только осязательные воспроизведения глубоких мыслей, едва доступных пониманию многих людей. Всюду возбуждается мое любопытство, но нигде мое теплое сочувствие всему прекрасному не находит приятного удовлетворения. Мой ум желал бы проникнуть в тайны ваших мудрецов, но сердце и понимание должны оставаться чуждыми тем основным воззрениям, на которых построены ваше мышление, существование и действия и которые, по-видимому, учат, что жизнь есть только короткий путь, ведущий к смерти, а смерть, напротив того, есть истинная жизнь в собственном смысле!

– И, однако, жизнь, которую мы стараемся украшать шумными празднествами, и у нас ценится в полном ее значении, и у нас боятся ужасов могилы и стараются избежать смерти. Наши врачи не пользовались бы таким уважением и широкой известностью, если бы в них не признавали искусства продлить наше земное существование. Кстати, я вспомнил о глазном враче Небенхари, которого я послал царю в Сузу. Оправдал ли он свою репутацию? Довольны ли им?

– Подобный представитель делает честь науке твоей страны, – отвечал Крез. – Он же обратил внимание Камбиза на привлекательность твоей дочери. Небенхари помог не одному слепцу; но мать царя, к несчастью, все еще лишена зрения. Мы, впрочем, сожалеем, что столь искусный человек умеет лечить только одни глаза. Когда дочь царя, Атосса, заболела горячкой, то невозможно было уговорить Небенхари дать ей врачебный совет.

– Это очень естественно, потому что наши врачи лечат всегда только одну какую-нибудь часть тела. У нас есть лекари ушные, зубные и глазные, врачи для лечения перелома костей, для внутренних болезней. Ни один зубной врач не может, по древним законам жрецов, лечить глухого, ни один из занимающихся болезнями костей не может лечить брюшных страданий, хотя бы в совершенстве понимал внутренние болезни. Посредством этого закона хотят достигнуть более основательного изучения отдельных отраслей медицинской науки. Вообще жрецы, к числу которых принадлежат и лекари, занимаются науками с похвальным рвением. Вон там находится дом верховного жреца Нейтотепа, чьи познания в астрономии и измерениях восхвалял даже сам Пифагор. Этот дом граничит с залом, ведущей в храм богини Нейт, повелительницы Саиса. Мне бы хотелось иметь возможность показать тебе священную рощу с ее величественными деревьями, прекрасные колонны святилища, капители которых подобны цветам лотоса, и колоссальную гранитную часовню, которая, по моему приказанию, сделана в Элефантине из одного цельного камня, чтобы посвятить ее богине. К сожалению, жрецы просили меня не вести даже и вас далее окружающих храмы стен и пилонов. Пойдем теперь к моей жене и моим дочерям; все они полюбили тебя, и я желаю, чтобы ты полюбил бедную девочку прежде, чем отправишься с ней в дальнюю страну и к чужим людям, царицею которых она должна сделаться. Не правда ли, ты примешь ее под свое покровительство?

– Будь уверен в этом, – сказал Крез, отвечая на рукопожатие Амазиса. – Я буду отечески заботиться о твоей Нитетис, а она будет иметь во мне нужду, так как женские комнаты персидских дворцов имеют весьма скользкий пол. Впрочем, к ней будут относиться с великим уважением. Камбиз может быть доволен своим выбором и высоко оценит то, что ты доверишь ему свое прекраснейшее дитя. Хотя Тахота привлекательна не менее Нитетис, но все-таки ей недостает того величия, которым отличается последняя и которое так идет будущей персидской царице. Небенхари говорил только о твоей дочери Тахоте.

– А я все-таки отправляю свою прекрасную Нитетис; Тахота так хрупка и нежна, что вряд ли перенесла бы трудности пути и печаль разлуки. Если бы я слушался внушений своего сердца, то и Нитетис не следовало бы отправляться в Персию. Но Египет нуждается в мире, а я стал фараоном прежде, чем сделался отцом!

Глава пятая

Все прочие члены персидского посольства возвратились в Саис со своей прогулки по Нилу к пирамидам; только Прексасп, посланник Камбиса, уже находился на обратном пути в Персию, для того чтобы сообщить царю о благоприятном результате сватовства.

Во дворце Амазиса всюду царило большое оживление. Свита Камбизова посланника, состоявшая почти из трехсот человек, и знатные гости, которым оказывали всевозможное внимание, наполняли все помещения большого саисского дворца. Дворы переполнены были телохранителями и сановниками, молодыми жрецами и рабами в праздничных одеждах.

По случаю устраиваемого в этот день праздника в честь помолвки своей дочери фараон хотел показать в особенно блистательном виде богатство и великолепие своего двора.

Высокая, поддерживаемая пестрыми колоннами приемная зала, обращенная окнами в сад, потолок которой, расписанный голубой краской, был усеян тысячей золотых звезд, представляла действительно обворожительное зрелище. По стенам, богато испещренным картинами и иероглифическими знаками, висели лампы из цветного папируса, распространявшие странный свет, подобный солнечным лучам, просвечивающим сквозь цветные стекла. Пространство между стенами и колоннами было наполнено редкими тамарисками, лиственными растениями и цветочными кустами, а за ними была скрыта невидимая толпа арфистов и флейтистов, встречавших гостей торжественными однообразными мелодиями.

Посреди комнаты, пол которой был выложен белыми и черными плитами, стояли красивые столы с холодным жарким, сладкими кушаньями, прекрасно убранными корзинами с плодами и печеньями, золотыми кубками, стеклянными бокалами и изящными цветочными вазами. Около этих столов толпилось множество богато одетых рабов, которые, под надзором домоправителя, разносили кушанья отдельным гостям, разговаривавшим частью стоя, частью сидя в дорогих креслах.

Общество состояло из мужчин и женщин всех возрастов. Входящим женщинам молодые жрецы, личные слуги фараона, подавали изящные букеты, и многие знатные юноши являлись с цветами, которые они, во время пиршества, не только дарили избранницам своего сердца, но даже подносили к самому их носу.

Египтяне, одетые так же, как и при приеме персидских послов, были вежливы и даже раболепны по отношению к женщинам, между которыми находилось, впрочем, весьма мало замечательных красавиц. У большинства из них волосы были убраны по одному образцу, вся волнистая масса взбитых и завитых щипцами волос спускалась назад, оставляя две косы справа и слева, которые, ниспадая с обеих сторон между глазом и ухом, спускались до самой груди. Широкая диадема придерживала эти прически, про которые горничные знали, что они столь же часто были произведением искусства парикмахера, как и природы. Над пробором у многих придворных дам был прикреплен цветок лотоса, стебель которого спускался на затылок.

В нежных руках, пальцы которых были унизаны кольцами, а ногти, согласно египетскому обычаю, покрашены красной краской, они держали опахала из пестрых перьев, а верхние части и кисти рук и ноги у лодыжек были украшены золотыми и серебряными запястьями.

Одежды всех присутствовавших египтянок были столь же прекрасны, как и драгоценны, в особенности по нежности ткани, тонкой почти до прозрачности, и у некоторых были скроены таким образом, что оставляли непокрытой правую грудь.

Подобно тому, как между мужчинами отличался молодой персидский князь Бартия, Нитетис, дочь фараона, красотой превосходила всех египтянок. Царственная девушка в своем прозрачном ярко-розовом платье, со свежими розами в черных волосах, ходившая рядом со своей одинаково одетой сестрой, была бледна, как цветок лотоса, украшавший голову ее матери.

Царица Ладикея, гречанка по происхождению, дочь Баттоса из Кирены, находилась около Амазиса и подводила молодых персов к своим детям. Легкая кружевная накидка покрывала затканную золотом пурпурную ткань ее платья. На прекрасной голове ее греческого типа была надета золотая змея – головной убор египетских цариц. Ее лицо было столь же благородно, как и приветливо, и каждое движение ее показывало, что она обладает той грацией, которую в состоянии дать только эллинское воспитание.

После смерти своей второй жены, египтянки Тентхеты, матери наследника престола Псаметиха, Амазис выбрал эту женщину вследствие своего пристрастия к грекам и наперекор сопротивлению жрецов.

Две поместившиеся около Ладикеи девушки, Тахот и Нитетис, считались близнецами, но в них не замечалось никакого следа того сходства, которое вообще привыкли находить в близнецах.

Тахот была блондинка с голубыми глазами, небольшого роста и изящного сложения, между тем как Нитетис – высокая и полная, с черными глазами и волосами, каждым движением своим заявляла о своем происхождении из дома фараонов.

– Как ты бледна, дочь моя, – проговорила Ладикея, целуя Нитетис в щеку. – Будь весела и смотри с уверенностью в будущее. Я привела к тебе брата твоего будущего супруга, благородного Бартию.

Нитетис подняла свои выразительные, темные глаза и устремила долгий, испытующий взгляд на прекрасного юношу. Последний низко поклонился, поцеловал одежду вспыхнувшей девушки и сказал:

– Приветствую тебя, как мою будущую царицу и сестру! Я совершенно уверен, что у тебя сжимается сердце при прощании с родиной, родителями, братьями и сестрами; но не унывай, потому что твой будущий муж – великий герой и могущественный царь; наша мать Кассандана – благороднейшая из женщин, а женская красота и добродетель уважается у персов подобно свету солнца, изливающему жизнь. Тебя же, сестра лилии, Нитетис, которую я рядом с нею желал бы назвать «розою», я прошу простить меня в том, что мы пришли лишить тебя дорогой подруги.

Взоры юноши впились при этих словах в голубые глаза прекрасной Тахот, которая, приложив руку к сердцу, молча поклонилась и еще долго глядела вслед Бартии, когда Амазис увел его с собою, чтобы усадить его на стул против танцовщиц, которые только что начали показывать свое искусство для увеселения гостей. Одежда этих девушек состояла только из одной легкой юбки, и их гибкие фигуры кружились и извивались под звуки арф и тамбуринов. Затем выступили на сцену египетские певцы и фокусники со своими забавными номерами.

Наконец, некоторые придворные, оставив во хмелю свою торжественную сдержанность, вышли из залы. Женщины, в сопровождении рабов, с факелами, отправились домой в пестрых носилках; только военные начальники, персидские послы и некоторые сановники, в особенности друзья Амазиса, были удержаны домоправителем и приглашены в великолепно убранную комнату, где стоял стол, приготовленный на греческий манер, с громадным, красовавшимся посреди него сосудом для смеси вина с водою, приглашавшим к ночному кутежу.

Амазис сидел на высоком кресле во главе стола; по левую руку от него находился юный Бартия, а по правую – престарелый Крез. Кроме него и близких к фараону лиц, здесь находились уже знакомые нам друзья Поликрата, Феодор и Ивик, а также новый начальник эллинской царской стражи Аристомах.

Амазис, который еще так недавно вел серьезный разговор с Крезом, теперь сыпал самыми едкими шутками. Казалось, будто он снова превратился в безумно-веселого командира незначительного звания и беззаботного кутилу прежних времен.

С каким-то искрометным юмором он сыпал шутками и остротами, поддразнивая своих собеседников и подсмеиваясь над ними. Громкий, – часто искусственный, вызванный уваже-

нием к остроумию фараона, – смех раздавался в ответ на его шутки; кубок осушался за кубком, и ликование достигло своего апогея, когда домоправитель фараона появился с маленькой вызолоченной мумией и, показывая ее гостям, воскликнул:

– Пейте, шутите и веселитесь, потому что слишком скоро вы сделаетесь подобными вот этой мумии.

– Это напоминание о смерти во время пиршеств, вероятно, вошло у вас в обычай? – спросил у фараона Бартия, сделавшись серьезнее, – или же это твой домоправитель позволяет себе сегодня эту шутку?

– С древнейших времен, – отвечал Амазис, – принято указывать на подобные мумии, для сильнейшего возбуждения веселости пирующих и для напоминания им, чтобы они спешили наслаждаться, пока есть время. У тебя, молодого мотылька, еще много радостных лет впереди; но мы, старые люди, друг Крез, должны серьезно относиться к этому напоминанию. Виночерпий, поскорей наполняй наши кубки, чтобы ни одна минута жизни не проходила бесполезно! Как ты умеешь пить, златокудрый перс! Право, великие боги даровали тебе такое же здоровое горло, как прекрасные глаза и цветущую красоту. Дай поцеловать тебя, очаровательный юноша, негодный мальчик! Моя дочь Тахот не говорит ни о чем другом, как об этом молокососе, который вскружил ей голову сперва нежными взглядами, а потом чарующими словами. Ну, нечего тебе краснеть, юный ветрогон! Мужчина, подобный тебе, имеет право заглядываться на царских дочерей; но будь ты даже сам Кир, твой отец, и в таком случае я не отпустил бы Тахот в Персию!

– Отец! – тихо шепнул фараону наследник престола Псаметих, прерывая его речь. – Отец, удержи свой язык и вспомни о Фанесе.

Фараон окинул сына мрачным взглядом; его веселое настроение было парализовано точно какой-то судорогой, и затем он только изредка вмешивался в разговор, делавшийся все более и более громким и оживленным.

Аристомах, сидевший наискосок против Креза, непрерывно наблюдал за персами, не говоря ни слова и не отвечая смехом на шутки Амазиса. Как только умолк фараон, он с живостью обратился к Крезу и спросил:

– Мне желательно было бы знать, лидиец, покрывал ли снег горы в то время, когда вы покинули Персию?

Удивленный этим странным вопросом, Крез с улыбкой отвечал:

– Большая часть персидских гор была покрыта зеленью, когда мы, четыре месяца тому назад, отправились в Египет; но в царстве Камбиза есть также вершины, на которых даже в самое жаркое время года не тает снег, и они сверкали белизной, когда мы спускались с них.

Лицо спартамца заметно прояснилось. Крез, которому понравился этот серьезный человек, спросил, как его зовут.

– Меня зовут Аристомахом.

– Твое имя неизвестно мне.

– Ты знал многих эллинов, а многие имеют одно имя со мною.

– Судя по твоему диалекту, ты принадлежишь к дорийскому племени; не спартанец ли ты?

– Я был им.

– А теперь?

– Тот, кто покидает отечество без позволения, подлежит смерти.

– Ты добровольно покинул родину?

– Да.

– Зачем?

– Чтобы избавиться от позора.

– Что же ты сделал дурного?

- Ничего.
- Поэтому тебя несправедливо обвинили в преступлении?
- Да.
- А кто был причиной твоего несчастья?
- Ты.

Крез привскочил с места. Серьезный тон и мрачное лицо спартанца устраняли всякую мысль о шутке.

Соседи обоих, вслушивавшиеся в странный разговор, также испугались и попросили Аристомаха объяснить его странное заявление.

Спартанец колебался. Было видно, что ему неприятно говорить; но наконец, когда и фараон стал просить его рассказать, в чем дело, он начал таким образом:

– Ты, Крез, следуя изречению оракула, избрал нас, лакедемонцев, как самых могущественных из эллинов, в союзники против могущества персов, и подарил нам золото для храма Аполлона Гермеса, на горе Форнаксе. Поэтому эфоры решили подарить тебе громадный, искусно сделанный из меди сосуд для смешанного напитка. Вручить его тебе послали меня. Прежде чем мы достигли Сардеса, корабль наш погиб от бури и вместе с ним – сосуд. Мы спасли только свою жизнь и добрались до Самоса. Когда мы возвратились на родину, то на меня возвели обвинение, будто я продал корабль и сосуд самосским купцам. Но так как меня не могли уличить, а между тем хотели погубить, то я был приговорен простоять два дня и две ночи у позорного столба. Прежде чем занялось утро моего бесчестия, явился мой брат и тайно передал мне меч. Я должен был лишиться себя жизни, во избежание позора. Я не мог умереть, так как должен был еще отомстить моим врагам; поэтому я сам отрубил прикованную ногу от колена и спрятался в тростниках Эвротаса. Брат тайно приносил мне пищу и питье. Через два месяца я мог уже ходить вот на этой деревяшке. Аполлон принял на себя мою месть, потому что чума истребила моих злейших противников. Несмотря на их смерть, я не мог возвратиться. В Гифиуме я, наконец, сел на корабль для того, чтобы вместе с тобою, Крез, сражаться в Сардесе против персов. Когда я высадился в Теосе, то узнал, что ты уже более не царь. Могущественный Кир, отец этого прекрасного юноши, в несколько недель покорил сильную Лидию и превратил в нищего богатейшего из царей.

Все пирующие с удивлением глядели на серьезного воина.

Крез пожал его жесткую руку, а молодой Бартия воскликнул:

– Поистине, спартанец, мне хотелось бы взять тебя с собою в Сузы, чтобы показать моим друзьям, что я встретил храбрейшего и честнейшего из людей!

– Поверь мне, юноша, – с улыбкой ответил Аристомах, – что каждый спартанец поступил бы подобно мне. В нашей стране нужно более мужества для того, чтобы быть трусом, чем для того, чтобы быть храбрым.

– А ты, Бартия, – воскликнул Дарий, двоюродный брат персидского царя, – разве вынес бы позор – стоять у столба?

Бартия покраснел, но было видно, что и он предпочел бы смерть позору.

– А ты, Зопир? – спросил Дарий, обращаясь к третьему из молодых персов.

– Я из одной любви к вам изувечил бы себя, – воскликнул этот последний и пожал под столом руки двух своих друзей.

Псаметих посмотрел на юных героев с насмешливой улыбкой, Крез, Гигес и Амазис – с величайшим доброжелательством; египтяне выразительно переглядывались, а спартанец весело посмеивался.

Теперь Ивик рассказал об изречении оракула, пророчившего Аристомаху возвращение на родину с приближением людей из края снежных вершин, и при этом упомянул о гостеприимном доме Родопис.

Псаметих сделался беспокоен при упоминании этого имени; Крез выразил желание познакомиться с престарелой фракиянкой, о которой Эзоп рассказывал ему много хорошего, и когда гости, большею частью упившиеся до бесчувствия, покинули залу, то сверженный с престола царь, поэт, скульптор и спартанский герой сговорились на другой день отправиться в Наукратис, чтобы насладиться разговором с Родопис.

Глава шестая

В ночь после описанного пиршества фараон Амазис имел едва три часа отдыха. Как в другие дни, и на этот раз при первом крике петухов молодые жрецы разбудили его, повели в ванну, одели в царское облачение и проводили к алтарю на дворцовый двор, где он, на виду у народа, принес на алтарь обычную жертву; между тем как верховный жрец громким голосом пел молитвы, перечислял добродетели фараона и, для того, чтобы отклонить от фараона всякое порицание, возлагал всю ответственность за грехи, совершенные им по неведению, на его дурных советников.

Как и всегда, жрецы превозносили его добродетели, уговаривали его творить добро, читали ему места из священных книг о полезных деяниях и советах великих людей, а затем отвели его в комнаты, где его ожидали доклады и донесения из всех местностей государства.

Эти церемонии, повторявшиеся каждый день, Амазис соблюдал неуклонно, и так же добросовестно посвящал все назначенные часы работе, но зато позднейшую часть дня проводил по своему усмотрению, преимущественно в веселом обществе.

Поэтому жрецы упрекали его в том, что он ведет не жизнь фараона; но он однажды ответил разгневанному верховному жрецу: «Посмотри на этот лук; если ты станешь постоянно натягивать его, то он вскоре утратит свою силу; а если ты будешь употреблять его в дело только в течение одной половины дня и затем дашь ему отдых, то он останется тугим и годным к употреблению до тех пор, пока не лопнет тетива».

Амазис только что успел подписать последний доклад, заключавший в себе благоприятный ответ на просьбу одного номарха о выдаче денег на береговые постройки, оказавшиеся необходимыми вследствие наводнения, когда слуга доложил ему, что наследник престола Псаметих просит своего отца уделить ему несколько минут для разговора.

Амазис, находившийся в отличном расположении духа по случаю благоприятных известий из всех частей государства, весело приветствовал вошедшего, но вдруг сделался серьезным и задумчивым. Наконец, после продолжительной паузы, он повелел:

– Поди и проси принца войти.

Псаметих, как всегда бледный и мрачный, переступая через отцовский порог, отвесил глубокий и почтительный поклон.

Амазис ответил ему немим знаком; потом спросил отрывисто и строго:

– Чего тебе нужно от меня? Мое время с точностью размерено.

– В особенности для твоего сына, – отвечал Псаметих, и губы его задрожали. – Семь раз я просил у тебя великой милости, которую ты, наконец, даровал мне сегодня.

– Оставь упреки! Я догадываюсь о причине твоего прихода. Я должен разъяснить твои сомнения относительно происхождения Нитетис.

– Я не любопытен и пришел скорее для того, чтобы предупредить тебя и напомнить, что, кроме меня, еще существует другой, кому известна эта тайна!

– Фанес?

– А кто же иной? Он, изгнанный из Египта и из собственного отечества, через несколько дней покинет Наукратис. Кто ручается тебе в том, что он не выдаст нас персам?

– Доброта и дружба, которую я всегда оказывал ему.

– Ты веришь в благодарность людей?

– Нет, но я доверяю своей способности распознавать их. Фанес не изменит нам! Повторяю тебе, он мой друг.

– Может быть, твой друг, но мой смертельный враг.

– Так и остерегайся его. Мне же нечего опасаться с его стороны.

– Не тебе, но нашему отечеству! О, отец, подумай о том, что если я и ненавистен тебе, как твой сын, то я все-таки должен быть близок твоему сердцу, как будущность Египта. Подумай, что после твоей смерти, от которой да избавят тебя боги на многие лета, – я, как и ты теперь, буду представлять настоящее этой дивной страны, что мое низвержение в будущем делается равносильно падению твоего дома и гибели Египта!

Амазис становился все серьезнее, между тем как Псаметих с жаром продолжал:

– Ты должен согласиться и согласишься, что я прав! В руках у этого Фанеса – возможность предать нашу страну каждому иноземному врагу, потому что он знает ее так же хорошо, как мы с тобою; далее, в его груди скрыта тайна, разоблачение которой может превратить могущественнейшего из наших друзей в страшнейшего врага.

– Ты ошибаешься! Нитетис хотя и не мое дитя, но все-таки дочь фараона и сумеет расположить к себе сердце мужа.

– Если бы она была даже дочерью какого-либо из богов, то и тогда Камбиз, узнав тайну, сделался бы нашим врагом; ведь ты знаешь, что у персов ложь считается величайшим преступлением, а сделаться жертвою обмана – позором. Ты же обманул самого гордого и могущественного из них; и что будет в состоянии сделать одинокая, неопытная девушка там, где благосклонности владыки добивается сотня женщин, искушенных во всевозможных коварствах?

– Не правда ли, что ненависть и мстительность – лучшие наставники в красноречии? – резким тоном спросил Амазис. – Неразумный сын, неужели ты думаешь, что я затеял такую опасную игру без зрелого обсуждения всех обстоятельств? Пусть Фанес хоть сегодня расскажет персам то, чего он даже хорошенько не знает, о чем он может только догадываться и чего никак не в состоянии доказать! Я – отец и Ладикейя – мать лучше всего должны знать, кто наше дитя. Оба мы называем Нитетис нашей дочерью; кто же осмелится утверждать, что это не правда? Если Фанес захочет раскрыть перед другим врагом, кроме персов, слабые стороны нашего государства, то пусть делает это; я не боюсь никого! Неужели ты хочешь уговорить меня согласиться на гибель человека, которому я за многое обязан благодарностью, который верно прослужил мне десять лет и ничем не оскорбил меня? Говорю тебе, что я вместо того, чтобы сделать ему зло, готов защитить его от твоей мести, грязный источник которой мне известен.

– Отец!

– Ты хочешь погубить этого человека, потому что он помешал тебе насильно завладеть внучкой фракиянки Родопис из Наукратиса; потому что я назначил его, вместо тебя, главным командующим, так как ты оказался неспособным. Ты бледнеешь? Право, я благодарен Фанесу за то, что он предупредил меня относительно твоих постыдных планов и этим дал мне случай еще более привязать к себе людей, составляющих опору моего престола, которым Родопис очень дорога!

– Отец, как можешь ты превозносить таким образом иноземцев и забывать о древней славе египтян! Брани меня, сколько тебе угодно; я знаю, что ты не любишь меня, но не говори, что мы нуждаемся в чужеземцах для своего величия. Оглянись на нашу историю! Когда были мы всего могущественнее? В то время, когда для всех иноземцев без исключения был воспрещен доступ в наше государство; когда мы, стоя на собственных ногах, веруя в собственные силы, жили согласно древним законам наших отцов и богов. Те времена были свидетелями деятельности Рамзеса Великого, который подчинил нашему победоносному оружию самые отдаленные народы; те времена слышали, как весь мир называл Египет первой, величайшей страной в мире. А что такое мы теперь? Из собственных твоих царских уст я слышу, что ты называешь чужеземных нищих и проходимцев «опорою государства»; я вижу, как ты, фараон, готовляешь недостойный обман для того, чтобы приобрести дружбу народа, над которым мы одерживали великие победы до тех пор, пока иностранцы не появились на берегах Нила. Земля египетская была богато убранной, могущественной царицей, а теперь она – разрумяненная и обвешанная мишурным золотом развратница!

– Придержи свой язык! – воскликнул Амазис, топнув ногой. – Египет никогда не знал такого процветания и величия, как теперь! Рамзес перенес наше оружие в дальние страны и сделал посредством его кровавые приобретения; но я добился того, что произведения наших рук отправляются на отдаленнейшие окраины света и вместо крови приносят нам сокровища и благосостояние. Рамзес заставлял своих подданных проливать потоки крови и пота для славы своего имени, а я достиг того, что в моем государстве кровь проливается с расчетом, а пот – только при полезных работах, и что каждый гражданин может окончить свое земное поприще в безопасности, счастье и благосостоянии. На берегах Нила находятся теперь десять тысяч густонаселенных мест, не осталось ни одного фута необработанной земли, ни один ребенок в Египте не лишен благодетельного права и закона, ни один злодей не может ускользнуть от бдительного взора властей. А если бы на нас напали враги, то, кроме наших крепостей и других средств обороны, дарованных нам самими богами, то есть водопадов, морей и пустыни, мы имеем для защиты отличнейших бойцов, когда-либо носивших оружие – тридцать тысяч эллинов, кроме египетской касты воинов. Таковы дела в нашем Египте! Некогда он заплатил Рамзесу кровавыми слезами за мишурный блеск пустой славы. Неподдельным золотом истинного гражданского счастья и мирного благосостояния он обязан мне и моим предшественникам, саисским царям!

– А все-таки я говорил тебе, – воскликнул наследник, – что Египет – дерево, в жизненных волокнах которого завелась смертоносная червоточина. Стремление и погоня за золотом, за роскошью и блеском испортило все сердца. Пышность иноземцев нанесла смертельный удар простым нравам наших граждан. Часто приходится слышать, как египтяне, совращенные эллинами, насмеваются над древними богами; раздор и ссоры разъединяют касты жрецов и воинов. Ежедневно доносят о кровавых побоищах между эллинскими наемниками, египетскими воинами, иностранцами и туземцами. Пастырь и стадо ведут борьбу друг с другом; один жернов государственной мельницы стирает другой, пока все здание не рассыплется прахом. Да, отец мой, если я не буду говорить сегодня, то мне никогда не придется этого сделать, и я, наконец, должен высказать то, что тяготит мое сердце! Во время твоей борьбы с почтенным сословием наших жрецов, надежнейшей опорой престола, ты спокойно смотрел, как юное могущество персов, подобно чудовищу, поглощающему народы и делающемуся все прожорливее и сильнее после всякой новой жертвы, подвигалось с Востока на Запад. Вместо того чтобы подоспеть на помощь лидийцам и вавилонянам, как ты сначала намеревался сделать, ты помогал грекам строить храмы для ложных богов. Но, когда, наконец, всякое сопротивление оказалось невозможным, когда Персия подчинила себе полмира и, сделавшись непобедимой, могла требовать от всех царей чего хотела, тогда бессмертные боги, по-видимому, еще раз захотели подать тебе руку помощи для спасения Египта. Камбис посватался за твою дочь; но ты, будучи слишком слаб для того, чтобы пожертвовать собственным ребенком для всеобщего благополучия, посылаешь великому царю подставную невесту и по своей слабыхарактерности щадишь иноземца, который держит в своих руках счастье и гибель твоего государства, если оно не рухнет раньше, подточенное внутренним раздором!

До сих пор Амазис, бледный и дрожащий от гнева, выслушивал порицание всего, что было наиболее дорого его сердцу. Но теперь он уже не мог молчать и голосом, раздавшимся в огромной комнате, подобно трубному звуку, воскликнул:

– Знаешь ли ты, чьим существованием я должен был бы пожертвовать, если бы жизнь моих детей и существование основанного мною царского дома не были для меня дороже благоденствия этой страны? Известен ли тебе хвастливый мстительный сын злополучия, тот человек, который сделается разрушителем этого прекрасного древнего царства? Это ты сам, Псаметих, отмеченный богами и внушающий ужас людям, ты, сердце которого не знает любви, грудь – дружбы, лицо – улыбки, а душа – сострадания! Проклятие богов дало тебе пагубный отталкивающий характер, и вражда бессмертных ниспосылает дурной конец твоим начинаниям. Слу-

шай же теперь, так как я должен высказать то, о чем я так долго умалчивал, вследствие родительской слабости. Я свергнул своего предшественника и принудил его выдать за меня свою сестру Тентхету. Она полюбила меня, и через год я имел надежду сделаться отцом. В ночь, предшествовавшую твоему рождению, я уснул, сидя у кровати моей жены. Тогда мне приснилось, что твоя мать лежит на берегу Нила. Она жаловалась мне на боль в груди. Я наклонился к ней и увидел, что из ее сердца вырастает кипарис. Дерево делалось все больше, шире и темнее; а корни обвилились вокруг твоей матери и задушили ее. Я похолодел от ужаса. Я хотел бежать, но вдруг с востока поднялся страшный ураган, опрокинувший кипарис таким образом, что широкие ветви погрузились в волны Нила. Тогда река остановилась в своем течении, ее вода отвердела и вместо реки предо мною лежала громадная мумия. Прибрежные города превратились в погребальные урны, которые, точно в могиле, окружали громадный труп Нила. Тут я проснулся и велел призвать снотолкователей. Ни один из них не сумел объяснить удивительный сон; наконец, жрецы Аммона Ливийского объявили мне следующее толкование: «Тентхета лишилась жизни вследствие рождения сына. Этого сына, мрачного, злобного человека, изображает кипарис, удушивший свою мать. Во время его правления народ с востока превратит Нил, то есть египтян, в трупы, а их города – в груды развалин, изображаемые погребальными урнами».

Псаметих, подобно мраморному изваянию, стоял напротив отца, между тем как последний продолжал:

– Твоя мать умерла, дав тебе жизнь, на твоих висках виднелись ярко-красные волосы, знак сынов Тифона, египетского бога зла; повзрослев, ты сделался мрачным человеком; несчастье преследовало тебя, так как ты лишился любимой жены и четверых детей. Подобно тому, как я рожден под счастливым знаком Аммона, ты, по вычислениям астрологов, рожден при восхождении ужасной планеты Сет; ты...

Амазис прервал свою речь, потому что Псаметих, подавленный тяжестью всех ужасов, которых он наслушался, упал и скорее стонал, чем говорил:

– Перестань, жестокий отец, и умолчи, по крайней мере, о том, что я единственный в Египте сын, невинно преследуемый ненавистью родного отца!

Амазис посмотрел на бледного человека, упавшего к его ногам и скрывавшего лицо в складках его платья. Его быстро возгоревшийся гнев превратился в сострадание. Он почувствовал, что был слишком жесток, что своим рассказом бросил в душу Псаметиха ядовитую стрелу, и вспомнил об умершей сорок лет тому назад матери несчастного. В первый раз с давних пор он взглянул как отец и утешитель на эту мрачную личность, отталкивавшую всякое изъятие любви и столь чуждую ему по всем своим воззрениям. Его нежному сердцу теперь в первый раз представлялась возможность осушить слезы в глазах сына, всегда дышавших такой холодностью. С радостной поспешностью воспользовался он этим случаем и, нагнувшись к стонавшему Псаметиху, запечатлел на челе его поцелуй, поднял его и проговорил мягким голосом:

– Прости мой порыв, любезный сын. Нехорошие слова, оскорбившие тебя, вырвались не из сердца Амазиса, а из пасти бешенства. Ты в течение многих лет раздражал меня своей холодностью, ожесточением, своим упрямством и отталкивающим обращением. Сегодня ты оскорбил меня в моих священнейших чувствах, поэтому я и поддался порыву гнева. Теперь все будет хорошо между нами. Хотя мы слишком различны по характерам для того, чтобы наши сердца могли слиться в одно с полной искренностью, но отныне мы будем действовать единодушно и делать уступки друг другу.

Псаметих, молча поклонившись, поцеловал платье отца.

– Нет, не так, – воскликнул Амазис, – поцелуй меня в губы. Вот это другое дело, так должно быть между отцом и сыном! Что же касается до дикого сна, о котором я рассказывал тебе, то не беспокойся. Сны – обманчивые видения; если же они действительно ниспосыла-

ются богами, то их истолкователи подвержены человеческим заблуждениям. Твои руки все еще дрожат, и твои щеки так же белы, как твоя полотняная одежда. Я был жесток к тебе, более жесток, чем отец...

– Более жесток, чем позволяется быть чужому относительно чужого, – прервал фараона наследник. – Ты сломил и уничтожил меня, и если до сих пор на моем лице редко показывалась улыбка, то отныне оно будет зеркалом бедствия.

– Нет, – сказал Амазис, положив руку на плечо сына. – Если я нанес раны, то имею средства залечить их. Выскажи мне самое пламенное желание твоего сердца – и оно будет исполнено!

Глаза Псаметиха сверкнули, бледно-розовый отблеск появился на его мертвенном лице, и он ответил, не задумываясь, таким голосом, в котором еще отзывалось потрясение, испытанное им в последние минуты:

– Отдай мне Фанеса, моего врага.

Фараон оставался некоторое время погруженным в задумчивость, затем сказал:

– Я буду принужден исполнить твое требование, но мне было бы приятнее, если бы ты потребовал половину моей казны. Тысячи голосов в глубине моей души шепчут мне, что я намереваюсь сделать нечто недостойное меня, что окажется пагубным для меня, для тебя, для целого государства. Обдумай еще раз, прежде чем начнешь действовать. Но предупреждаю тебя: каковы бы ни были твои намерения относительно Фанеса, с головы Родопис не должен быть тронут ни один волос; ты также должен позаботиться о том, чтобы преследование моего бедного друга осталось тайной, в особенности для греков. Где я найду полководца, советника и собеседника, подобного ему? Но он еще не находится в твоей власти, и поэтому я напому тебе, что если ты хитер, как египтянин, то Фанес хитер, как эллин! В особенности помни свою клятву – отказаться от всякой мысли о внучке Родопис. Если я не ошибаюсь, то месть для тебя дороже любви. Что же касается Египта, то повторяю тебе, что мое царство никогда не было счастливее, нежели теперь. Утверждать противное не приходит в голову никому, кроме недовольных жрецов и людей, бессознательно повторяющих их слова. Ты также хотел бы узнать историю происхождения Нитетис? Итак, слушай; твой собственный интерес должен заставить тебя молчать!

Псаметих с напряженным любопытством слушал рассказ отца, и, когда последний кончил, он поблагодарил его крепким пожатием руки.

– Теперь прощай! – закончил Амазис свой разговор с сыном. – Не забывай ничего мною сказанного, и в особенности прошу тебя, не проливай крови! Что бы ни случилось с Фанесом, я не хочу ничего знать, так как ненавижу жестокость и не желал бы с омерзением относиться к тебе, моему сыну! Как ты весел! Бедный афинянин, лучше было бы для тебя – никогда не вступать на эту землю!

Когда Псаметих удалился из комнаты своего отца, Амазис долгое время в задумчивости ходил взад и вперед по комнате. Он сожалел о своей уступчивости, и ему казалось, будто он уже видит окровавленного Фанеса, стоящего перед ним рядом с тенью свергнутого им Хофры. «Но ведь он действительно мог бы погубить нас», – старался он оправдать себя перед судьей в собственном сердце, затем встрепенулся, выпрямился во весь рост, призвал слуг и с улыбкой на губах вышел из своих покоев.

Неужели этот легкомысленный человек, баловень счастья, так скоро успокоил свой внутренний голос? Или он владел собой настолько, чтобы прикрывать улыбкой страдания, которые ему приходилось выносить?

Глава седьмая

Выйдя из комнаты отца, Псаметих немедленно отправился в храм богини Нейт. У входа в храм он спросил о главном жреце. Храмовые прислужники попросили его обождать, говоря, что великий Нейтотеп в настоящую минуту молится в святой святых великой владетельницы неба.

Молодой жрец появился вскоре с извещением, что его повелитель ожидает принца.

Псаметих тотчас покинул прохладное место, где расположился в тени серебристых тополей священной рощи, на берегу большого пруда, посвященного великой Нейт. Он прошел по первому двору, вымощенному каменными плитами, на который ослепительные солнечные лучи падали, подобно раскаленным стрелам, причем придерживался одной из длинных сфинксовых аллей, ведущих к отдельно стоявшим пилонам гигантского храма богини. Он прошел через громадные главные ворота, которые, подобно всем египетским храмовым воротам, были украшены ширококрылым солнечным диском. По обеим сторонам отворенных настежь ворот возвышались башнеподобные здания, стройные обелиски и развевающиеся флаги. Затем он скрылся во дворе, окаймленном справа и слева колоннами, посреди которого приносились жертвы божеству. Весь передний фасад собственно храмового здания, подымавшегося наподобие укрепления, тупым углом, из квадратов обширного, окруженного колоннами двора, был покрыт пестрыми изображениями и надписями. Через портик он вошел в высокую переднюю комнату, потом в большую залу, голубой потолок которой, усеянный тысячами золотых звезд, поддерживался четырьмя рядами гигантских колонн. Корпус их и капители, изображавшие цветок лотоса, боковые стены и ниши этой громадной залы, — одним словом, все, на чем останавливался взор, было расписано пестрыми красками и иероглифами. Колонны подымались до гигантской высоты, безмерно высокая зала раскидывалась в необъятную, величественную ширь; воздух, которым дышали молящиеся, был переполнен ладаном и запахом кифи, а равно и испарениями, проникавшими из лаборатории храма. Тихая музыка, исполняемая незримыми артистами, казалось, никогда не умолкала, но иногда прерывалась густым ревом священных коров Исида и каркающим голосом коршунов Гора, чье помещение находилось рядом. Как только раздавалось торжественно-протяжное мычание коровы, подобное далекому раскату грома, или слышался потрясавший нервы резкий крик коршуна, молеельщики, сидевшие на корточках, наклоняли головы и касались лбами каменных плит переднего двора, обнесенного колоннами. С величайшим благоговением глядели они на закрытые для них внутренние покои храма, в святой святых которого, огромной зале, высеченной наподобие часовни из одного куска гранита, стояли многочисленные жрецы; у некоторых из них на блестящих лысых головах виднелись страусовые перья, у других были накинута на плечи, поверх белой одежды, пантеровые шкуры. С бормотаньем и пеньем они склонялись и выпрямлялись, поднимали кадила с фимиамом и из золотых сосудов для жертвенных возлияний лили чистую воду в честь богов. В этой гигантской зале, открытой только для самых привилегированных египтян, человек должен был чувствовать себя умаленным до последней степени. Его зрение, слух, даже дыхательные органы подвергались только таким влияниям внешнего мира, которые отстояли далеко от всего, чем наполняется ежедневная жизнь, стесняли грудь и возбуждали содрогание в нервах. В чаду и отречьшись от действительности молящийся должен был искать опоры вне самого себя. Голос жреца указывал ему на эту опору; таинственная музыка и голоса священных животных считались проявлениями близости божества.

После того как Псаметих, не будучи в состоянии молиться, принял, однако же, на некоторое время позу молящегося на назначенной для него низкой золотой скамье, покрытой подушками, — он направился к упомянутой, более тесной и менее высокой, боковой зале, в которой помещались священные коровы Исида-Нейт и коршуны Гора. Занавес из драгоценной,

вышитой золотом материи скрывал их от глаз посетителей храма, так как лицезрение этих обоготворяемых животных разрешалось народу весьма редко и издалека. Когда Псаметих проходил мимо, то в золотые ясли коров служители клали размоченные в молоке печенья, соль и цветы клевера, а в красивую клетку коршуна – маленьких птичек с пестрыми перьями. В своем тогдашнем настроении духа наследник престола не обратил никакого внимания на все эти хорошо ему знакомые вещи, по скрытой лестнице поднялся в комнаты, расположенные около обсерватории, где верховный жрец имел обыкновение отдыхать после богослужения.

В великолепной комнате, покрытой тяжелыми вавилонскими коврами, на пурпурных подушках вызолоченного кресла сидел семидесятилетний старик Нейтотеп. Он держал в руках свиток, покрытый иероглифическими знаками. Позади него стоял мальчик, отмахивавший от него насекомых опахалом из страусовых перьев.

Лицо старого жреца было покрыто морщинами; но в нем виднелись следы прежней красоты. В больших голубых глазах и теперь еще светился живой ум, соединенный с чувством собственного достоинства.

Нейтотеп снял свой парик. Обнаженный гладкий череп оригинально отделялся от покрытого морщинами лица, вследствие чего свойственный египтянам плоский лоб казался необыкновенно высоким. Пестрая комната, на стенах которой виднелись тысячи изречений, написанных иероглифами, резные цветные статуи богини, стоявшие здесь, и белоснежная одежда жреца не могли не произвести на постороннего зрителя торжественного впечатления.

Старик принял наследника престола с большой серьезностью и спросил:

– Что привело моего светлейшего сына к бедному служителю божества?

– Я имею многое сообщить тебе, отец мой, – отвечал Псаметих с торжествующей улыбкой. – Я только что вернулся от Амазиса.

– Итак, он наконец выслушал тебя?

– Наконец!

– Твое лицо говорит мне, что наш властелин, а твой отец милостиво обошелся с тобою.

– Да, после того, как я подвергся его гневу. Когда я высказал требования, внушенные мне тобою, он предался неумеренному гневу и обрушился на меня с ужасными речами.

– Ты, вероятно, оскорбил его? Или же ты, по моему совету, приблизился к нему в виде смиренно просящего сына.

– Нет, отец мой, я был раздражен и полон негодования.

– В таком случае Амазис был прав в своем гневе; никогда не следует сыну относиться к своему родителю с неудовольствием, а менее всего тогда, когда этот сын собирается о чем-нибудь просить его. Ты знаешь изречение: «почитающий своего отца будет долголетен». Вот видишь, сын мой, ты постоянно оказываешься виновным в том, что стараешься насильственно и с неудовольствием добиться исполнения вещей, которые могут быть приобретены посредством доброты и кротости. Доброе слово гораздо действеннее злого, и способ, каким мы пользуемся речью, имеет большое значение. Послушай, что я расскажу тебе. Много лет тому назад Египтом управлял фараон Снефру, имевший местопребывание в Мемфисе. Однажды ему приснилось, что все зубы выпали у него изо рта. Он тотчас же послал за снотолкователем, которому и рассказал свой сон. Тогда последний воскликнул: «О фараон, горе тебе, все твои родственники умрут раньше тебя!» Разгневанный Снефру велел наказать несчастного плетью и призвал второго толкователя, который объяснил сон следующим образом: «Великий фараон, да будет благословенно твое имя, ты проживешь долее всех твоих родственников!» Фараон улыбнулся при этих словах и наградил второго снотолкователя подарком; потому что хотя последний сказал ему то же самое, что и первый, но сумел облечь свое изречение в лучшую форму. Понимаешь ли ты смысл приведенного примера? Итак, старайся на будущее избирать приятную форму для своей речи, потому что, в особенности для слуха властителя, столь же важно то – как ему говорят, как и то – что ему говорят.

– О, отец мой, как часто давал ты мне эти наставления, как часто я сам сознавал, что наношу себе вред своими грубыми словами и гневными движениями; но я не могу изменить своей манеры, не могу...

– Скажи лучше: не хочу; истинный мужчина не должен никогда вторично делать того, о чем однажды пожалел. Но довольно читать наставления! Рассказывай, каким образом ты смягчил гнев Амазиса.

– Ты знаешь моего отца. Когда он увидал, что его страшные слова поразили меня до самой глубины души, он раскаялся в своей бешеной вспышке. Он почувствовал, что зашел слишком далеко, и захотел какою бы то ни было ценою загладить свою жестокость.

– У него благородное сердце, но ум его помрачен! – воскликнул жрец. – Чем бы мог быть Амазис для Египта, если бы слушался наших советов и заповедей богов!

– Будучи так сильно растроган, он под конец согласился, – слушай хорошенько, отец мой, – он согласился подарить мне жизнь Фанеса!

– Как сверкают твои глаза! Это нехорошо, Псаметих! Афинянин должен умереть, потому что оскорбил богов; но судья, будучи строгим, должен не радоваться, а скорбеть о несчастьи осужденного. Ну, говори, чего же еще добился ты?

– Царь сообщил мне, из какого дома происходит Нитетис.

– Больше ничего?

– Нет, отец мой, но разве тебе не любопытно узнать...

– Любопытство есть порок женщин; впрочем, я уже давно знаю то, что ты мог бы рассказать мне.

– Но ведь ты вчера настойчиво поручал мне расспросить отца.

– Я сделал это, чтобы испытать тебя, предан ли ты божеству и готов ли исполнить его повеления, и идешь ли по тому пути, который один может сделать тебя достойным посвящения в высшую степень знания. Я вижу, что ты добросовестно сообщаем нам все, о чем узнаешь, и что ты умеешь исполнять первую добродетель жреца – послушание.

– Так ты знаешь, кто отец Нитетис?

– Я сам читал молитву у могилы фараона Хофры.

– Но кто выдал тебе тайну?

– Вечные звезды, сын мой, и мое искусство читать в книге небес.

– А эти звезды? Разве они никогда не обманывают.

Псаметих побледнел. Сон его отца и его собственный ужасный гороскоп восстали в его душе в виде жутких призраков. Жрец тотчас же заметил изменение в чертах лица принца и мягким голосом сказал ему:

– Ты вспоминаешь о несчастных небесных знаках при твоём рождении и считаешь себя погибшим; но утешься, Псаметих, в то время астрологи не заметили созвездия, которое не ускользнуло от моих глаз. Твой гороскоп был плох, очень плох, но он может обратиться в хороший, он может...

– О говори, отец мой, говори!

– Все должно обратиться к лучшему, если ты, забыв обо всем другом, будешь жить для богов и, безусловно, станешь повиноваться их голосу, который мы слышим в святой святых.

– Подай знак, отец мой, – и я буду слушаться!

– Да воздаст это владычица Саиса, великая Нейт! – воскликнул жрец торжественным голосом. – А теперь, сын мой, – ласково продолжал он, – оставь меня, так как я утомился от продолжительной молитвы и бремени лет. Если возможно, то не спеши со смертью Фанеса: мне хотелось бы поговорить с ним прежде, нежели он умрет. Еще одно: вчера вступил сюда отряд эфиопов. Эти люди не понимают ни слова ни по-египетски, ни по-гречески. Под начальством верного человека, знающего и афинянина, и местность, они окажутся пригодными к устранению виновного, так как их незнание языка и обстоятельств дела не допустит нескромности

или предательства. Перед своим отправлением в Наукратис эти люди ничего не должны знать о цели своего путешествия; а когда дело будет сделано, то мы отправим их обратно в Куш. Помни, что тайна, о которой знает не один человек, уже наполовину не тайна. Прощай!

Псаметих удалился из комнаты старика. Спустя несколько минут вошел молодой жрец, один из слуг фараона, и спросил Нейтотепа:

– А что, хорошо ли я наблюдал, отец мой?

– Отлично, сын мой; от тебя не ускользнуло ничего из разговора Амазиса с Псаметихом. Да сохранит Исида твой слух.

– Ах, отец, сегодня глухой услышал бы из соседней комнаты каждое слово, так как фараон ревел, точно бык.

– Великая Нейт наслала на него неосторожность. Но я приказываю тебе говорить о фараоне с большим почтением. Ступай теперь, держи глаза свои открытыми и немедленно уведоми меня, если Амазис – что весьма возможно – попытается спасти от гибели Фанеса. Ты во всяком случае найдешь меня дома. Прикажи слугам, чтобы они отказывали всем посетителям и говорили, что я молюсь в святая святых. Неизреченный да хранит твой путь!

Пока Псаметих делал все приготовления к поимке Фанеса, Крез со своими спутниками сажился в барку фараона, чтобы отправиться в Наукратис и провести следующий вечер у Родопис.

Его сын Гигес и трое молодых персов остались в Саисе, где они чувствовали себя превосходно.

Амазис осыпал их любезностями, по египетскому обычаю допускал в общество своей жены и так называемых сестер-близнецов, учил Гигеса игре в шашки и выказывал неистощимый запас остроумия и веселости, любуясь, как сильные и ловкие юноши участвовали в играх его дочерей – в бросании мячей и обручей, составлявшем любимое развлечение египетских девушек.

– Право, – воскликнул Бартия после того, как Нитетис в сотый раз подхватила тонкой палочкой из слоновой кости легкий, украшенный лентами обруч, – эту игру нам следует ввести и у себя на родине. Мы, персы, не похожи на вас, египтян. Все новое и иноземное принимается нами настолько же охотно, насколько вам оно бывает, по-видимому, неприятно. Я расскажу об этой игре нашей матери Кассандане, и она с удовольствием согласится, чтобы жены моего брата забавлялись таким образом.

– Сделай это, непременно сделай, – воскликнула белокурая Тахот, зардевшись ярким румянцем. – Нитетис будет участвовать в этой забаве и мысленно переноситься на родину, к милым сердцу; ты же, Бартия, – негромко прибавила она, – следя за полетом обруча, должен также вспоминать о настоящей минуте.

Молодой перс с улыбкою отвечал:

– Я никогда не забуду ее! – Затем он воскликнул громко и весело, обращаясь к своей будущей невестке: – Не унывай, Нитетис, тебе понравится у нас больше, нежели ты думаешь. Мы, азиаты, умеем чтить красоту; это мы доказываем уже тем, что имеем по нескольку жен!

Нитетис вздохнула, а Ладикейя, жена царя, воскликнула:

– Именно этим вы показываете, что дурно понимаете женскую натуру! Ты не можешь себе представить, Бартия, что чувствует женщина, когда она видит, что на нее смотрит как на какую-то игрушку, на дорогую лошадь или на драгоценный сосуд тот человек, который для нее дороже жизни, которому она готова была бы вполне и беззаветно пожертвовать всем, что ей дорого и свято. Еще в тысячу раз обиднее, когда приходится разделять с сотнею других ту любовь, которой желательно было бы обладать одной.

– Вот видишь, какая она ревнивая! – воскликнул Амазис. – Разве она не говорит так, как будто уже имела случай жаловаться на мою неверность?

– О нет, дорогой мой, – отвечала Ладикея, – в этом отношении вам, египтянам, следует отдать предпочтение перед всеми другими мужчинами; вы верны и постоянны и довольствуетесь тем, что однажды полюбили; я даже осмеливаюсь утверждать, что ни одна женщина не может быть счастливее жены египтянина. Даже греки, умеющие гораздо богаче украшать жизнь, нежели египтяне, не умеют ценить женщин так, как они того заслуживают! В душных комнатах матери и домоправительницы постоянно принуждают их к работе у ткацкого станка или прялки, и таким образом, эллинские девушки грустно проводят свою раннюю молодость, для того, чтобы достигши совершеннолетия, быть введенными в безмолвный дом незнакомца мужа, деятельность которого на пользу государства позволяет ему лишь изредка заходить в женскую комнату. Женщина имеет право появляться в обществе мужчин только при посещении ее мужа близкими друзьями и родственниками, – но и то застенчиво и нерешительно, – чтобы услышать, что делается на свете и поучиться. Увы! И в нас существует стремление к приобретению знаний, и именно нашему полу и не следовало бы отказывать в известных сведениях для того, чтобы мы, будучи матерями, могли сделаться наставницами своих детей. Что может передать своим дочерям эллинка-мать, кроме незнания, так как она не имеет ни о чем понятия и ничего не испытала. Поэтому грек весьма редко довольствуется своей законной женой, стоящей в умственном отношении гораздо ниже его, и отправляется в дома гетер, которые, находясь в непрерывных сношениях с другим полом, наслушались от мужчин всего и умеют украшать приобретенные от них познания цветами женственной прелести и солью своего тонкого остроумия. В Египте все делается иначе. Здесь подрастающие девушки допускаются к совершенно свободному обращению в обществе лучших мужчин; юноша и девушка знакомятся друг с другом при многочисленных празднествах и привязываются один к другому. Вместо рабы женщина становится подругой мужчины. Одно дополняет другое. В более серьезных вопросах перевес остается на стороне более сильного; мелкие заботы предоставляются женщине, более сведущей в малых вещах. Дочери вырастают под хорошим присмотром, так как мать не лишена познаний и опытности. Женщине легко оставаться добродетельной и домовитой, так как она своими добродетелями увеличивает счастье того, кто принадлежит только ей одной и драгоценнейшее сокровище которого составляет она. Мы, женщины, ведь делаем только то, что нам нравится! Египтяне обладают искусством направлять нас таким образом, чтобы нам нравилось именно только то, что хорошо. Здесь, на берегах Нила, Фокилид Милетский и Гиппонакт Эфесский, греческие поэты-сатирики, никогда не осмелились бы выступить против нас со своими сатирическими песнями, – здесь никогда не могло бы быть придумано сказание о Пандоре.

– Как хорошо ты говоришь! – воскликнул Бартия. – Мне было трудно выучиться по-гречески, но теперь я радуюсь, что не бросил своих занятий и внимательно слушал уроки Креза.

– Но кто же эти дурные люди, которые осмеливаются скверно говорить о женщинах? – спросил Дарий.

– Несколько греческих поэтов, – отвечал Амазис, – самые смелые из людей, так как я скорее согласился бы раздражить львицу, чем женщину. Эти греки не боятся ничего в мире. Послушайте только образчик поэзии Гиппонакта:

Жена лишь два дня тебе может приятно быть:
В день свадьбы и в день, когда будут ее хоронить.

– Перестань, перестань, бессовестный! – воскликнула Ладикея, затыкая себе уши. – Вот посмотрите, персы, каков этот Амазис. Где он только может поддразнить и посмеяться, там уже не упустит случая, – хотя бы даже он вполне разделял мнение тех, которые подвергаются его насмешкам. Нет лучшего мужа...

– И нет жены хуже тебя, – со смехом заметил Амазис, – так как ты набрасываешь на меня подозрение, будто я уж слишком послушный супруг! До свидания, дети; пусть молодые герои познакомятся с нашим Саисом; но прежде я хочу сообщить им, что язвительный Семонид поет о самой лучшей из женщин:

Но от пчелы одна произошла:
Счастливец, тот, кому она досталась!
Через нее плодятся и цветут
Ему судьбой ниспосланные блага;
И с любящим супругом доживет
Она, любя, до старости глубокой;
От ней идет прекрасный, славный род,
Всех жен она затмила ярким блеском,
Все прелестью богини дышит в ней.
Не по сердцу ей круг болтливых женщин,
Где говорят лишь об одной любви.
Вот каковы разумнейшие жены
И лучшие, которых только Зевс
Дарует нам, мужчинам, в обладание.

– Вот такова и моя Ладикея! Прощайте!

– Нет еще, подождите! – воскликнул Бартя. – Я еще должен сперва оправдать нашу бедную Персию, чтобы вдохнуть новое мужество в мою будущую невестку. Но, нет! Дарий, говори ты за меня, так как ты столь же красноречив, как и сведущ в денежных расчетах и в искусстве владеть мечом.

– Тыставляешь меня каким-то болтуном и разносчиком, – возразил сын Гистаспа. – Но пусть будет так; я уже давно порываюсь защитить нравы нашей родины. Итак, знай, Ладикея, что твоя дочь никоим образом не будет рабой, но станет подругой нашего царя, если Аурамазда, божество, направит его сердце к добру; знай, что и в Персии, разумеется, только при больших празднествах царские жены присутствуют за столом вместе с мужчинами, и что мы привыкли оказывать величайшее уважение нашим женам и матерям. Послушайте-ка: в состоянии ли вы, египтяне, предоставить вашим женам подарок драгоценнее того, который сделал вавилонский царь, женатый на персиянке? Эта последняя, привыкнув к горам своей родины, чувствовала себя несчастной на обширных равнинах Евфрата и заболела с тоски по родине. Что же сделал царь? Он приказал возвести гигантское сооружение на высоких мостовых арках и покрыть его вершину насыпью из плодородной земли. Там были посажены великолепнейшие цветы и деревья, орошавшиеся искусственными водопроводами. Когда все было готово, он привел туда свою жену-персиянку и подарил ей искусственную гору, с которой она, как с вершины Рахмеда, могла смотреть вниз на равнину.

– И что же, выздоровела ли персиянка? – спросила Нитетис, опустив глаза.

– Она выздоровела и повеселела; так же и ты по прошествии некоторого времени будешь чувствовать себя довольной и счастливой в нашей стране.

Ладикея приветливо улыбнулась и спросила:

– А что же больше всего способствовало выздоровлению молодой царицы? Искусственная гора или любовь мужа, воздвигнувшего такую постройку для ее удовольствия?

– Любовь мужа! – воскликнули девушки.

– Но Нитетис не станет пренебрегать и горою, – уверял Бартя. – Я устрою так, чтобы она жила в висячих садах, каждый раз, когда двор будет посещать Вавилон.

– Теперь же ступайте, – воскликнул Амазис, – иначе вам придется осматривать город в темноте. А меня уже целый час ожидают два писца. Эй, Сахон, прикажи сотнику наших телохранителей следовать за нашими высокими гостями с сотней воинов!

– Но к чему это? Достаточно было бы одного проводника или кого-нибудь из греческих низших начальников.

– Так лучше. Иностранец никогда не может быть чересчур осторожен в Египте. Примите это к сведению; в особенности остерегайтесь насмехаться над священными животными. Будьте здоровы, мои юные герои, и до свидания сегодня вечером за веселым кубком!

Персы вышли из дворца фараона в сопровождении переводчика, грека, воспитанного в Египте, говорившего одинаково бегло на обоих языках.

Улицы Саиса, находившиеся вблизи дворца, представляли приятное зрелище. Дома, из которых иные имели пять этажей, были построены из легких нильских кирпичей и украшены рисунками и иероглифическими знаками. Галереи с перилами из резного пестро раскрашенного дерева, поддерживаемые размалеванными колоннами, окружали стены, выходившие во двор. На крепко запертых входных дверях многих домов можно было прочесть имя и сословие владельца. На плоских крышах стояли цветы и красивые растения, под сенью которых египтяне любили проводить вечера, если не предпочитали подниматься на башенки, являвшиеся принадлежностью почти каждого дома. Эти маленькие обсерватории строились потому, что несносные насекомые, зарождающиеся на Ниле, летают только очень низко и от них можно было избавиться на вершине этих башенок.

Молодые персы восхищались величайшей, почти до излишества доведенной чистотой, которой блистали все дома и даже улицы. Доски на дверях и молотки сверкали на солнце, нарисованные фигуры на стенах, галереях и колоннах имели такой вид, как будто они только сейчас окончены, и даже мостовые на улицах заставляли предполагать, что тут имеют обыкновение мыть их. Чем более удалялись персы от Нила и дворца, тем уже делались улицы города. Он был построен на склоне небольшого холма и в сравнительно короткое время превратился из незначительного поселения в большой город, когда за два столетия перед тем сюда была перенесена резиденция фараонов.

На стороне Саиса, обращенной к рукаву Нила, улицы были прекрасны и застроены красивыми зданиями; на другом склоне холма, напротив того, были расположены хижины бедняков, сделанные из нильского ила и ветвей акаций и только изредка перемежавшиеся с более приличными домами. На северо-западе высился укрепленный дворец фараона.

– Вернемся назад, – предложил Гигес, сын Креза, обращаясь к младшим своим спутникам (которых он, в отсутствие своего отца, был обязан охранять), когда увидел, что толпа любопытных, следовавших за ними, на каждом шагу увеличивается.

– Как прикажешь, – отвечал переводчик. – Там внизу, в долине, у подошвы того холма, расположен мертвый город саитян, на который, по моему мнению, стоит посмотреть иностранцам.

– Иди вперед, – воскликнул Бартия, – ведь мы затем и сопровождали Прекаспа, чтобы увидеть все достопримечательности чужих стран.

Когда они, невдалеке от мертвого города, достигли пустого места, окруженного лавочками ремесленников, то в следовавшей за ними толпе послышался дикий крик. Дети испускали радостные восклицания, женщины кричали, и какой-то голос, покрывавший все другие, взывал:

– Идите сюда, в преддверие храма, чтобы увидеть деяние великого волшебника, уроженца оазисов Ливийского Запада. Он наделен всеми чародейскими силами от Хунсу, подавателя хороших советов, и от великой богини Гекаты!

– Следуйте за мною вот туда, в маленький храм! – сказал переводчик. – Вы сейчас увидите удивительное зрелище.

Тут он стал вместе с персами пролагать себе дорогу сквозь толпу египтян, отталкивая в сторону то полунагого ребенка, то женщину с желтоватым цветом лица, и вскоре возвратился в сопровождении жреца, который провел иностранцев в передний двор храма. Тут, среди нескольких ящиков и сундуков, стоял человек в одежде жреца. Два негра на коленях находились около него.

Ливиец, гигантского роста, с гибким телом и пронизательными черными глазами, держал в руке духовой инструмент вроде наших кларнетов. Вокруг его груди и рук обвивались несколько змей, признаваемых в Египте ядовитыми.

Очутившись напротив персов, он поклонился, торжественным жестом пригласил их быть зрителями, снял свою белую одежду и начал проделывать разные фокусы со своими змеями.

То он позволял кусать себя, так что яркая кровь струилась у него по щекам, то, посредством странных звуков своей флейты, принуждал их выпрямиться и делать движения, похожие на танцы, то, плюнув им в пасть, превращал их в неподвижные палки. Потом он бросал всех змей наземь и, вращаясь среди них, исполнял бешеный танец, не касаясь их ногами.

Точно безумный, выворачивал и корчил волшебник свои гибкие конечности, пока глаза его не вылезали из орбит и на губах не показывалась кровавая пена.

Вдруг он, точно мертвый, упал на землю. Ничто не шевелилось во всей его фигуре, кроме губ, которые издавали какое-то свистящее шипение. По этому знаку змеи поползли к нему и, подобно живым кольцам, обвились вокруг его шеи, ног и туловища. Наконец, он поднялся и пропел песню в честь чудотворной силы божества, которое, ради своей собственной славы, сделало его чародеем.

Затем он открыл один из сундуков и положил туда большую часть змей и только некоторых, вероятно, своих любимцев, оставил на себе в виде шейных украшений и браслетов на руках.

Вторую часть его представления составляли хорошо исполненные фокусы. Он глотал горящий лен; плясал, держа в равновесии мечи, острые концы которых помещались у него в глазных углублениях; вытаскивал длинные веревки и ленты из носов египетских детей; показывал известную игру с шарами и кубками и довел благоговейное удивление зрителей до последних пределов, вынув из пяти страусовых яиц столько же живых маленьких кроликов.

Персов никак нельзя было причислить к самой неблагодарной части зрителей, напротив, это никогда не виданное ими зрелище произвело потрясающее впечатление на их души.

Им казалось, что они находятся в стране чудес, что из всех радостей Египта они увидели теперь самые невероятные.

Молча добрались они до лучших улиц, не замечая, как много из окружавших их египтян ходили безрукими и с обезображенными носами и ушами. Эти люди не были необыкновенным зрелищем для азиатов, так как и у них многие преступления наказывались отрезыванием членов. Если бы они осведомились о причине изувечения, то узнали бы, что в Египте лишенный руки человек есть преступник, уличенный в подлоге, безносая женщина – нарушительница супружеской верности, лишенный языка – государственный преступник или клеветник, человек с отрубленными ушами – шпион, а та бледная идиотка – детоубийца, которая, в наказание за свое преступление, должна была в течение трех дней и трех ночей продержать на руках труп умерщвленного ею ребенка. Какая женщина была бы в состоянии сохранить рассудок по прошествии столь ужасных дней.

Большая часть карательных законов у египтян имела целью как наказать за преступления, так и поставить преступника перед невозможностью совершить преступление вторично.

Шествие приостановилось, так как многочисленная толпа народа скупилась на улице, ведущей к храму Нейт, у одного из прекраснейших домов, немногочисленные окна которого (большая их часть обыкновенно выходила на двор или в сад) были заперты ставнями.

У входной двери стоял старик в простой белой одежде слуги жреца; размахивая руками, он пытался воспрепятствовать нескольким людям одного с ним сословия унести из дому большой ящик.

– Кто позволил вам обкрадывать моего господина? – кричал он, бешено жестикулируя. – Я страж этого дома, и мой господин, отправляясь по приказанию фараона в Персию, – которую да уничтожат боги, – приказал мне в особенности смотреть за этим ящиком: в нем хранятся его бумаги.

– Успокойся, старый Гиб, – воскликнул храмовый служитель, – нас прислал сюда верховный жрец великой Нейт, господин твоего господина. В этом ящике находятся какие-нибудь особенные бумаги, иначе Нейтотеп не почтил бы нас поручением взять его.

– Но я не допущу, чтобы была украдена собственность моего господина, великого врача Небенхари! – кричал старик. – Я добьюсь справедливости и, если нужно, дойду до самого фараона!

– Стой! – воскликнул теперь храмовый служитель. – Вот так. Эй, вы! Отправляйтесь-ка с ящиком; несите его сейчас же к верховному жрецу; ты же, старик, поступил бы умнее, если бы попридержал свой язык и обдумал, что и ты тоже слуга моего господина – верховного жреца. Отправляйся-ка назад в дом, а то завтра мы потащим и тебя так же, как сегодня этот ящик!

С этими словами он так сильно захлопнул тяжелую входную дверь, что старик был отброшен в сени и скрыт от взоров толпы.

Персы стали свидетелями этой странной сцены и просили переводчика объяснить ее значение.

Зопир рассмеялся, услышав, что владелец похищенного всемогущим верховным жрецом ящика – глазной врач, который проживал в Персии вследствие слабости зрения матери царя и которого, за его серьезный и мрачный нрав, не слишком любили при дворе Камбиза.

Бартия хотел спросить Амазиса, что означает это странное похищение; но Гигес убеждал его не путаться в дела, которые их не касаются.

Когда они подошли к самому дворцу (темнота, наступающая в Египте весьма быстро, уже начала распространяться), Гигес внезапно почувствовал, что его остановил какой-то человек, удержав за одежду. Он оглянулся и увидел, что незнакомец, прижав палец к губам, делает ему знак молчать.

– Когда я могу незаметно поговорить с тобой наедине? – шепнул он сыну Креза.

– Что тебе нужно от меня?

– Не спрашивай и отвечай поскорее. Клянусь Митрой, божеством, я имею сообщить тебе важные вещи!

– Ты говоришь по-персидски? Значит, ты не египтянин, несмотря на свое египетское платье?

– Я – перс; но отвечай скорее, прежде нежели увидят нас разговаривающими. Когда мне можно незаметно поговорить с тобой?

– Завтра утром.

– Это слишком поздно!

– Ну, так через четверть часа, когда совершенно стемнеет, у дворцовых ворот.

– Буду ожидать тебя.

С этими словами незнакомец исчез. Гигес, возвратясь во дворец, расстался с Бартией и Зопиром, опоясался мечом, попросил Дария сделать то же самое и последовать за ним; и вскоре, окутанные ночным мраком, они стояли у большого дворцового портика, с глазу на глаз с незнакомцем.

– Хвала Аурамазде, что ты пришел! – воскликнул он, обращаясь к молодому лидийцу на персидском языке. – Но кто такой твой спутник?

– Мой друг, ахеменид Дарий, сын Гистаспа.

Незнакомец низко поклонился и сказал:

– Это хорошо, а то я думал, уж не египтянин ли пришел с тобою.

– Нет, мы одни и хотим выслушать тебя. Но будь краток. Кто ты такой и чего желаешь?

– Я Бубарес и был бедным сотником во времена великого Кира. Когда мы взяли приступом Сарды, столицу твоего отца, нам сначала было разрешено грабить; но твой мудрый отец просил Кира велеть прекратить грабеж, потому что, так как Сарды им покорены, это значило бы грабить не прежнего владельца, а самого себя. Тогда, под страхом смертной казни, было приказано возвратить все сотникам; этим же последним повелено распорядиться, чтобы все драгоценности, которые будут доставлены им, были снесены на рынок. Там лежало множество куч золотой и серебряной посуды, целые горы женских и мужских украшений с драгоценными камнями...

– Скорей, скорей, у нас немного времени! – прервал Гигес рассказчика.

– Ты прав; я должен рассказывать короче. Мне угрожала смерть, так как я оставил у себя сверкающий драгоценными камнями ящик для мазей из дворца твоего отца. Кир хотел приказать казнить меня; но Крез спас мне жизнь своим ходатайством у победителя. Кир даровал мне свободу, но объявил меня лишенным чести. Таким образом, я обязан жизнью твоему отцу; но я все-таки не мог оставаться в Персии, так как бесчестие лежало на мне слишком тяжелым гнетом. Смирнский корабль доставил меня на Кипр. Там я снова поступил на военную службу, выучился по-гречески и по-египетски, сражался против Амазиса и был привезен сюда Фанесом в качестве военнопленного. Я всегда служил в коннице. Меня присоединили к рабам, ходящим за царскими лошадьми. Я отличился и через шесть лет сделался смотрителем конюшен. Я никогда не забывал твоего отца и благодарности, которою обязан ему; теперь наступает моя очередь быть ему полезным.

– Дело идет о моем отце? Так говори же скорей, рассказывай, объясняй!

– Твой отец проводит сегодняшней вечер в Наукратисе у Родопис?

– Почему ты это знаешь?

– Я слышал это от него самого, потому что следовал сегодня за ним в барке, чтобы броситься к его ногам.

– Достиг ли ты своей цели?

– Да. Он сказал мне несколько милостивых слов; но он не мог долго слушать меня, так как его спутники уже сели на корабли, когда он пришел. Его старый раб Сандон, которого я знаю, торопливо сказал мне только, что они отправляются в Наукратис к эллинке по имени Родопис.

– Он сказал правду.

– Итак, необходимо скорее спасти его. Когда рынок уже был полон народа, в Наукратис тайно отправилось десять повозок и две барки с эфиопскими воинами, чтобы ночью оцепить дом Родопис и взять в плен ее гостей.

– Измена! – воскликнул Гигес.

– Но что они могут замышлять против твоего отца? – спросил Дарий. – Ведь им известно, что месть Камбиса...

– Я ничего не знаю, – повторил Бубарес, – кроме того, что загородный дом Родопис, в котором находится также и твой отец, должен быть сегодня ночью оцеплен эфиопскими воинами. Я сам запрягал лошадей в эти телеги и слышал, что веероносец наследника престола обратился к сотнику Пентауру со следующими словами: «Раскрой хорошенько уши и глаза и вели окружить дом Родопис для того, чтобы он не ускользнул в заднюю дверь. Щадите его жизнь, если это будет возможно, и убейте его только тогда, когда он вздумает сопротивляться. Если вы доставите его живым в Саис, то получите двадцать колец золотом».

– Неужели это действительно относится к моему отцу!

– Никким образом! – воскликнул Дарий.

– Нельзя знать, – пробормотал Бубарес, – в этой стране все возможно.

- За сколько времени может хорошая лошадь доскакать до Наукратиса?
- В три часа, если выдержит скачку и если Нил не слишком затопит дорогу.
- Я доскачу туда в два часа!
- Я поеду с тобой, – предложил Дарий.
- Нет, ты должен остаться здесь с Зопиром, охранять Бартию. Прикажи нашим слугам быть наготове!
- Но, Гигес...
- Ты останешься здесь и извинишься за меня перед Амазисом. Ты скажешь, что я не могу присутствовать на пиру, вследствие головной или зубной боли, слышишь? Я поеду на низейском коне Бартии; ты, Бубарес, последуешь за мною на лошади Дария; ведь ты предоставишь ее мне на время, брат мой?
- Если бы у меня было их десять тысяч, все они принадлежали бы тебе.
- Знаешь ли ты, Бубарес, дорогу в Наукратис?
- Как свои собственные глаза!
- Итак, отправляйся, Дарий, и прикажи, чтобы лошади, как твоя, так и Бартии, были наготове! Всякое промедление есть преступление! Прощай, Дарий, может быть, навсегда! Будь защитником Бартии! Прощай!

Глава восьмая

За два часа до полуночи веселые возгласы и яркое освещение вырывались из открытых окон дома Родопис.

В этот день в честь Креза стол у гречанки был убран особенно богато.

На подушках лежали в венках из роз и зелени уже знакомые нам гости Родопис: Феодор, Ивик, Фанес, Аристомах, купец Феопомп из Милета и многие другие.

– Да, этот Египет, – говорил Феодор, ваятель, – подобен обладателю золотого башмака, который он не хочет снять, хотя он очень жмет ему ногу, а перед ним стоят прекрасные удобные сандалии, к которым ему стоит только протянуть руку, чтобы вдруг получить возможность двигаться свободно и непринужденно.

– Ты подразумеваешь упрямую привязанность египтян к их устарелым догмам и привычкам? – спросил Крез.

– Разумеется, – отвечал скульптор. – Еще два столетия тому назад Египет был, бесспорно, первой страной мира. Искусство и познания египтян превосходили все, что мы были в состоянии достичь. Мы подражали их приемам, усовершенствовали их, придали свободу и красоту неподвижным формам, не придерживались никакого определенного размера, а только естественного первообраза, и теперь оставили за собою своих учителей. Каким образом сделалось это возможным? Только вследствие того, что учитель, принужденный неумолимыми законами, должен был остановиться на одной точке, а мы, смотря по силе и желанию, могли продвигаться вперед в обширной области искусства.

– Но как же можно принуждать художника совершенно однообразно создавать свои произведения, изображающие постоянно различные предметы?

– Это весьма легко объяснить. Египтяне разделяют все человеческое тело на 21 и 1/4 часть и по этому разделению распределяют отношения отдельных членов друг к другу. Этих цифр они придерживаются и приносят им в жертву высшие требования искусства. Я сам предложил Амазису пари в присутствии первого египетского скульптора, фиванского жреца, состоявшее в том, чтобы написать моему брату Телеклу в Эфес, указать ему величину, отношение и позу по египетскому способу и, вместе с ним, сделать статую, которая должна иметь вид созданной как бы из одного куска; хотя Телекл сделает нижнюю часть в Эфесе, а я готов работать над верхнею частью в Саисе на глазах Амазиса.

– И ты выиграешь свое пари?

– Несомненно. Я уже начал заниматься этою работой; разумеется, это не будет произведением искусства, как и всякая египетская статуя, не заслуживающая этого названия.

– Однако же отдельные произведения, например те, которые Амазис отправляет в настоящее время в подарок Поликрату на Самос, сделаны прекрасно. В Мемфисе я даже видел статую, которой, должно быть, около трех тысяч лет, представляющую какого-то фараона, выстроившего одну из больших пирамид; она возбудила мое удивление во всех отношениях. С какой уверенностью обработан необычайно твердый камень, как чисто выполнена мускулатура, в особенности грудь, ноги и ступни, какая осмысленность в выполнении, как смело набросаны контуры и как безукоризненна и в других статуях гармония в чертах лица!

– Это не подлежит сомнению. Что касается ловкости руки в искусстве, то есть в смелой обработке даже самого твердого материала, то египтяне, несмотря на продолжительный застой, все-таки еще искуснее нас. Ни одна греческая статуя не отполирована так прекрасно, как статуя Амазиса во дворе дворца. Но свободное творчество, работа Прометея, вложение души в камень, – этому египтяне выучатся не раньше, чем порвут связь со старыми обветшалыми традициями. Посредством пропорциональности нельзя достигнуть изображения умственной жизни и даже грациозной изменчивости тела. Взгляните на те бесчисленные статуи, которые

три тысячи лет тому назад поставлены длинным рядом у дворцов и храмов, от Наукратиса до водопадов. Все они представляют приветливо-серьезных людей средних лет, а между тем одна должна изображать старика, а другая – увековечить память о царственном юноше. Герои войны, законодатели, изверги и человеколюбцы – все имеют почти один и тот же вид, если не отличаются величиною, которою египетские художники пытаются выразить мощь и силу, или тем, что лица некоторых статуй суть портреты. Амазис заказывает себе статую так же, как я заказываю себе меч. Прежде чем художник начнет свое дело, мы оба знаем наперед, пунктуально назначив длину и ширину, что именно получим, когда работа будет готова. Разве можно изображать немощного старика так же, как подрастающего юношу, кулачного бойца – как скорохода, поэта – как воина?

Поставьте Ивика рядом с нашим другом-спартанцем и подумайте, что сказали бы вы, если бы я вздумал представить сурового воина делающим нежные жесты наравне со сладкогласным певцом?

– А что говорит Амазис о твоих замечаниях насчет этого застоя?

– Он сожалеет о нем, но не чувствует себя достаточно сильным, чтобы отменить стеснительные постановления жреческой касты.

– И однако, – сказал дельфиец, – он выделил значительную сумму на украшение нашего нового храма «для того, чтобы поощрить эллинское искусство», как выразился он сам.

– Это очень похвально с его стороны! – воскликнул Крез. – Скоро ли соберут Алкмеониды те триста талантов, которые нужны для окончания храма? Если бы я еще находился в прежних счастливых условиях, то я охотно принял бы на себя все расходы, хотя твой вероломный оракул, невзирая на все подарки, поднесенные ему мною, страшно обманул меня. А именно, когда я велел спросить его, должен ли я начинать войну против Кира, он ответил мне, что я уничтожу великое царство, если перейду через реку Галис. Я поверил божеству, по его совету свел дружбу со спартанцами и, перейдя через пограничную реку, действительно разрушил большое царство; но разрушенным оказалось не мидо-персидское царство, а моя собственная бедная Лидия, которая теперь, в качестве сатрапии Камбиза, с трудом привыкает к новой для нее зависимости.

– Ты несправедливо порицаешь божество, – отвечал Фрикс, – так как оно не виновато в том, что ты, по человеческому тщеславию, ложно истолковал его изречение. Ведь было сказано не о «царстве Персов», а просто о «царстве», которое будет разрушено вследствие твоего воинственного задора. Почему же ты не спросил, о каком царстве оно говорит? Кроме того: разве оно не предсказало тебе верно судьбу твоего сына, разве оно не возвестило тебе, что в день бедствия к нему возвратится дар слова? И когда ты, после падения Сардеса, просил позволения спросить в Дельфах – не поставили ли себе греческие боги законом высказывать неблагодарность к своим благодетелям, – то Локиас отвечал тебе, что он имел относительно тебя наилучшие намерения, но что над ним господствует неумолимая судьба, предсказавшая еще твоему могущественному предку, что пятый после него, то есть ты, обречен на погибель.

– Твои слова, – прервал Крез говорившего, – были бы для меня в день несчастья нужнее, чем теперь. Была минута, когда я проклинал твоего бога и его изречения; но потом, когда я, вместе с властью и царством, потерял и своих льстецов и привык измерять свои действия своим собственным суждением, я понял, что был ввергнут в погибель не Аполлоном, а моим тщеславием. «Царством», обреченным на уничтожение, по моим тогдашним понятиям, конечно, не могло быть мое, – это могущественное царство могущественного Креза, друга богов, полководца, который до тех пор еще ни разу не испытывал горечи поражения! Если бы какой-нибудь друг указал мне на эту сторону двусмысленного изречения, то я бы осмел и даже, вероятно, наказал его. Подобно коню, старающемуся лягнуть лекаря, который ощупывает его раны с целью их исцеления, деспот бьет прямодушного друга, который прикасается к язвам его больной души. Таким образом, и я не видел того, что мог бы легко увидеть. Тщеславие ослеп-

ляет глаза, данные нам для беспристрастного исследования вещей, и усиливает похотливость сердца, которое и без того, благодарение богам, широко открывается для каждой надежды на прибыль и быстро запирается на замок ввиду обоснованного опасения, что предстоит какая-нибудь потеря или какое-нибудь несчастье. Теперь, когда я вижу яснее и когда мне терять нечего, я страшусь гораздо чаще, чем страшился в то время, когда никто не мог потерять больше, чем я. В сравнении с прежним временем, Фрикс, я беден, однако же Камбис позволяет мне окончить мои дни по-царски, и я все-таки могу пожертвовать один талант на вашу постройку.

Фрикс поблагодарил, а Фанес сказал:

– Алкмеониды воздвигнут прекрасное здание, так как они честолобивы, богаты и хотят приобрести благосклонность амфикионов, чтобы, при их поддержке, низвергнуть тиранов, превзойти мой род и захватить в свои руки управление государством.

– Говорят, ты, Крез, более всех способствовал увеличению богатства этой фамилии, вместе с Агаристой, которая принесла Мегаклу в приданое большие сокровища, – заметил Ивик.

– Конечно, конечно, – засмеялся Крез.

– Расскажи, как было дело? – попросила Родопис.

– Алкмеон Афинский однажды прибыл к моему двору. Этот веселый, прекрасно образованный человек мне так понравился, что я надолго удержал его при себе. Однажды я показал ему свои кладовые с сокровищами, и при виде их богатства он впал в совершенное отчаяние. Он называл себя жалким нищим и рассказывал, как был бы он счастлив, если бы ему было позволено взять хоть одну горсть из всех этих драгоценностей. Тогда я позволил ему взять с собою столько золота, сколько он в состоянии нести. Что же сделал Алкмеон? Он велел надеть на себя высокие лидийские сапоги для верховой езды, обвязать себя передником и прикрепить корзину к своей спине. Все это он наполнил сокровищами; в передник он набрал столько золота, сколько мог нести, сапоги нагрузил золотыми монетами, в волосы и бороду велел насыпать золотого песка, даже рот свой он наполнил золотом так, что его щеки имели такой вид, точно он вздумал проглотить большую редьку. Наконец, в каждую руку он взял по большому золотому блюду и, в этом виде, изнемогая под тяжестью своей ноши, потащился прочь. Дойдя до двери кладовой, он упал, и я никогда впоследствии не смеялся так от души, как в этот день.

– И ты отдал ему эти сокровища?

– Разумеется; и, при всем том, мне не казалось, что я слишком дорого заплатил за опыт, удостоверивший, что золото даже умного человека превращает в глупца.

– Ты был самым щедрым из властителей! – вскричал Фанес.

– А теперь я – нищий, не совсем недовольный своей судьбой. Но скажи мне, Фрикс, сколько Амазис вложил в твою кружку?

– Тысячу мин.

– По моему мнению – это царский подарок. А наследник престола?

– Когда я обратился к нему и сослался на щедрость его отца, то он горько засмеялся и сказал, повернувшись ко мне спиной: «Если ты решишь собирать на разрушение вашего храма, то я готов подписать вдвое против суммы, данной Амазисом».

– Презренный!

– Скажи лучше: настоящий египтянин. Псаметих ненавидит все, что происходит не из его страны.

– Сколько пожертвовали эллины в Наукратисе?

– Кроме богатых взносов со стороны частных людей, каждая община пожертвовала по двадцати мин.

– Много!

– Один Филоин-сибарит прислал мне тысячу драхм при письме, в высшей степени странном. Могу я прочесть его, Родопис?

– Конечно. Вы увидите из этого письма, что распутник жалеет о своем поведении на последней встрече у меня.

Дельфиец достал из кармана свиток и стал читать письмо:

«Филоин поручает сказать Фриксу: «Мне прискорбно, что в последнее время я уже не пил у Родопис, если бы я пил, то допивался бы до лишения всякого сознания и до невозможности обидеть даже какую-нибудь самую ничтожную муху. Таким образом, моя проклятая умеренность виновата в том, что отныне я не могу более наслаждаться столом, наилучшим во всем Египте.

Впрочем, я благодарен Родопис уже и за то, чем я наслаждался, и, в воспоминание о великолепном жарком, из-за которого я желаю купить повара фракиянки за какую бы то ни было цену, посылаю тебе двенадцать больших вертелов для бычачьего жаркого. Их можешь ты поместить в каком-нибудь из Дельфийских хранилищ драгоценностей, в качестве подарка от Родопис. Сам я, как человек богатый, подписываю целую тысячу драхм. Этот дар должен быть публично провозглашен на ближайших пифийских играх в честь Апполона.

Грубияну Аристомаху Спартанскому передай мою благодарность. Он существенно способствовал достижению цели моего путешествия в Египет. Я прибыл сюда с целью дать выдернуть свой больной зуб тому египетскому врачу, который, говорят, выдергивает больные зубы без особенной боли. Аристомах ударом кулака устранил поврежденную часть моей челюсти и, таким образом, избавил меня от страшной операции, перед которою я трепетал. Возвратясь домой, я нашел у себя во рту три выбитых зуба: один больной и два здоровых, которые, может быть, со временем причинили бы много страданий.

Передай мое приветствие Родопис и прекрасному Фанесу; тебя же приглашаю через год от сего дня на пир в моем доме в Сибарисе. По случаю разных маленьких приготовлений, мы обыкновенно делаем наши приглашения несколько рано.

Письмо это я поручаю написать в соседней комнате моему ученому рабу Софотату, потому что уже при одном виде писанья у меня делаются судороги в пальцах».

Все гости разразились громким хохотом, а Родопис сказала:

– Меня радует это письмо, так как из него я вижу, что Филоин не дурной человек. Будучи воспитан по-сибаритски...

– Извините, господа, если я побеспокою вас и тебя, достойнейшая элинка, вторгаясь в твой мирный дом без приглашения.

Этими словами прервал пирующих незнакомый хозяйке человек, который, никем не замеченный, вошел в столовую.

– Я – Гигес, сын Креза, и не ради шутки отправился только два часа тому назад из Саиса, чтобы поспеть сюда вовремя.

– Менон, подушку для нашего нового гостя! – приказала Родопис. – От души приветствую тебя; отдохни от своей дикой, чисто лидийской скачки.

– Клянусь собакой, Гигес, – сказал Крез, протягивая руку своему сыну, – я не понимаю, что привело тебя сюда в такой поздний час. Я просил тебя не оставлять Бартию, вверенного моим попечениям, а все-таки ты... Но что с тобой? Разве случилось что-нибудь? Какое-нибудь несчастье? Говори же, говори!

В первые мгновения Гигес не мог ответить ни слова на вопросы своего отца. Когда он увидел, что любимый им человек, за жизнь которого он боялся, сидит благополучно и весело за пиршественным столом, то, казалось, у него во второй раз отнялся язык. Наконец, дар слова к нему вернулся и он отвечал:

– Хвала богам, отец мой, что я снова вижу тебя здоровым и невредимым! Не думай, чтобы я оставил свой пост при Бартии легкомысленно! Я был принужден вторгнуться в это веселое

собрание, как зловещая птица. Знайте же все вы – я не могу терять время на предисловия, – вас ждет измена и внезапное нападение.

Все присутствующие вскочили на ноги, спартанец молча схватился за свой меч, а Фанес протянул руку, точно желая попробовать, сохранилась ли в ней прежняя атлетическая сила мускулов.

– Что это значит? Что замышляют против нас? – спрашивали со всех сторон.

– Этот дом окружен эфиопскими воинами, – отвечал Гигес. – Один верный человек сообщил мне, что наследник престола приказал увести одного из вас связанным и даже умертвить, если жертва будет сопротивляться. Я боялся за тебя, отец, и бросился сюда. Человек, от которого я узнал все, не обманул. Этот дом окружен. Когда я доехал до ворот твоего сада, Родопис, то мой конь, несмотря на усталость, бросился в сторону. Я соскочил с него, и при лунном свете заметил за каждым кустом блистающее оружие и горящие глаза спрятавшихся людей. Они позволили нам войти в сад без помехи.

– Важное известие! – прервал речь Гигеса Кнакиас, бросившись в комнату. – Вот сейчас, когда я подошел к Нилу, чтобы достать из него воды для смешанного напитка, навстречу мне бросился какой-то человек, который чуть не сбил меня с ног. Я тотчас узнал его. Это был эфиоп, гребец Фанеса, который рассказал мне, что, когда он, желая выкупаться, прыгнул из лодки в Нил, к лодке Фанеса подошла барка фараона, и один солдат спросил у находящихся на лодке людей: кому они служат? «Фанесу», – отвечал кормчий. Царская лодка медленно пошла дальше, по-видимому, обратив мало внимания на твое судно, Фанес; но купающийся гребец ради шутки взобрался на корму чужой барки и там услышал, как один эфиопский солдат сказал другому: «Не упускай этого судна из виду; мы теперь знаем, где птица свила свое гнездо; нам будет легко поймать ее. Вспомни, что Псаметих обещал двадцать золотых колец, если мы приведем в Саис афинянина – живого или мертвого».

Вот что рассказал Зебек, матрос, который служит тебе семь лет, Фанес.

Афинянин выслушал рассказ Гигеса и раба с величайшим спокойствием.

Родопис задрожала. Аристомах заявил:

– Мы не позволим тронуть ни одного волоска на твоей голове, хотя бы нам пришлось уничтожить весь Египет!

Крез советовал соблюдать осторожность; всеми гостями овладело необычайное волнение.

Наконец, Фанес прервал свое молчание:

– Необходимость обдумать свои действия никогда не бывает так нужна, как в момент опасности. Я уже все обдумал и вижу, что едва ли могу спастись. Египтяне попытаются спровадить меня без шума. Они знают, что я завтра чуть свет намерен отправиться на фокейском корабле из Наукратиса в Сигеум, и, следовательно, им нельзя терять времени, если они хотят меня схватить. Весь твой сад, Родопис, окружен. Если я останусь у тебя, то на твой дом перестанут смотреть как на неприкосновенное убежище, в нем сделают обыск и захватят меня. Фокейский корабль, который должен везти меня к моему семейству, без сомнения, находится под таким же надзором. Из-за меня не должна бесполезно пролиться ни одна капля крови.

– Ты не должен сдаваться! – вскричал Аристомах.

– Я придумал, придумал! – внезапно вскочил Феопомп, купец из Милета. – Завтра, при восходе солнца, отправляется нанятый мною корабль с египетским хлебом, только не из Наукратиса, а из Канопы в Милет. Возьми лошадь благородного перса и скачи туда; мы силою проложим тебе путь через сад.

– Наша безоружная толпа ничего не может сделать против насилия, – возразил Гигес. – Нас десять человек, из которых только трое имеют при себе мечи; а солдаты, число которых доходит, по крайней мере, до сотни, вооружены с головы до ног.

– Если бы ты, лидиец, в десять раз более страдал отсутствием мужества и если бы их было двести человек, то я все-таки вступил бы в борьбу, – воскликнул Аристоммах.

Фанес пожал руку своего друга. Гигес побледнел. Испытанный герой назвал его трусом. Он снова не нашел слов для своей защиты. У него отнимался язык при каждом душевном волнении. Но вдруг щеки его вспыхнули румянцем, и он вскричал решительно:

– Следуй за мною, афинянин! А ты, спартанец, имеющий в других случаях обыкновение прежде думать, чем говорить, не называй впредь трусом тех, кого ты не знаешь! Друзья, Фанес спасен! Прощай, отец!

Оставшиеся с удивлением смотрели вслед удалявшимся. Вскоре по их исчезновении гости услышали топот двух промчавшихся лошадей; затем, спустя несколько времени, до них донеслись со стороны Нила продолжительный свист и крики тревоги.

– Где Кнакиас? – спросила Родопис одного из своих рабов.

– Он отправился в сад вместе с Фанесом и персом.

В эту минуту в комнату вошел слуга, бледный и дрожащий.

– Видел ты моего сына? – спросил Крез.

– Где Фанес?

– Оба они поручили мне передать вам их прощальный привет.

– Значит, они уехали? Каким образом им удалось бежать? Куда они направились?

– Здесь, в этой боковой комнате, – принялся рассказывать раб, – афинянин и перс прежде всего поговорили друг с другом. Затем я раздел их обоих. Фанес надел шаровары, кафтан и пояс перса и покрыл свои кудри его остроконечной шапкой, а перс облекся в хитон и плащ афинянина, украсил свой лоб его золотой повязкой, велел остричь себе волосы на верхней губе и приказал мне идти за ним в сад.

– Фанес, которого в его новом одеянии каждый принял бы за перса, вскочил на одну из стоявших у ворот лошадей. Перс громко прокричал вслед: «Прощай, Гигес, прощай, любезный перс! Счастливого пути, Гигес!» Стоявший у двери слуга поехал за ним. Повсюду в кустарнике я слышал стук оружия, но никто не преградил путь удалявшемуся афинянину. Спрятавшиеся воины, бесспорно, приняли его за перса.

– Когда мы возвратились к дому, перс сказал мне: «Теперь проводи меня к барке Фанеса и не забывай называть меня именем афинянина». – «Но матросы легко могут выдать тебя», – возразил я. – «Ну, так иди сперва к ним один и прикажи им принять меня как Фанеса, их господина».

– Я стал просить у него позволения одеться вместо него в платье беглеца, чтобы схватили меня, а не его. Он решительно отказался, и был прав, говоря, что меня легко выдадут моя осанка. Увы! Только свободный человек ходит прямо и смело; спина раба постоянно согнута, его движения лишены грации, которой вы, благородные, научаетесь в школах и гимназиях. И так будет вечно, потому что наши дети должны походить на своих отцов; ведь из луковички не вырастает роза, из серой редьки – гиацинт. Служба невольника гнет спину так же, как сознание свободы увеличивает рост.

– Что с моим сыном? – вскричал Крез, прерывая раба.

– Он не принял моей бедной жертвы и сел в барку, приказав мне передать тебе, царь, тысячу приветствий. Я закричал ему вслед: «Будь здоров, Фанес, счастливого пути, Фанес!» Луну покрыло облако; сделалось очень темно. Вдруг я услышал крик и зов о помощи; но это продолжалось недолго; затем раздался резкий свисток и, наконец, не слышно было ничего, кроме мерных ударов весел. Я только хотел вернуться в дом, чтобы рассказать вам о случившемся, как появился Зебек, гребец, добравшийся вплавь до берега. Он рассказал следующее: египтяне просверлили барку Фанеса, вероятно, с помощью водолаза. Дойдя до середины реки, она пошла ко дну. Матросы стали взывать о помощи. Тогда подошел царский корабль, следовавший за нею, взял мнимого Фанеса, как будто желая его спасти и не позволив матросам

афинянина оставить свои скамьи. Они все потонули на пробуравленном судне, только смелый пловец Зебек добрался до берега. Гигес теперь на царском корабле; Фанес ушел, потому что свисток относился, должно быть, к солдатам, стоявшим у задних ворот. Осмотрев перед возвращением сюда кустарники на дороге, я не нашел за ними ни одного человека; однако же я слышал стук оружия и разговор воинов, которые снова отправились по дороге в Саис.

Гости Родопис с лихорадочным напряжением слушали раба.

Когда он кончил свой рассказ, то настроение гостей было весьма различно. Радость, что любимый друг спасен от угрожавшей ему опасности, была первым чувством большинства; но потом последовал страх за смелого лидийца. Хвалили его благородство; желали счастья отцу, имеющему такого сына, и, наконец, согласились в том, что наследник престола, как только увидит ошибку своих людей, не только сейчас же отпустит Гигеса, но еще будет вынужден принести ему свои извинения.

Даже сам Крез успокоился при мысли о дружбе Амазиса и о том страхе, который египетский фараон обнаруживал перед могуществом персов. Вскоре затем Крез оставил дом Родопис, чтобы переночевать у милетского купца Феопомпа.

– Передай мой привет Гигесу! – сказал Аристомах, уходя от Родопис. – Поручаю просить у него от моего имени извинения и сказать ему, что желаю иметь его своим другом, если же это невозможно, то встретиться с ним на поле битвы, в качестве честного врага.

– Кто может знать, что его ожидает в будущем! – отвечал Крез, протягивая руку спартанцу.

Глава девятая

Солнце нового дня взошло над Египтом. Обильная ночная роса, заменяющая дождь на нильских берегах, сверкала, подобно изумрудам и бриллиантам, на цветах и листьях; солнце стояло еще низко на востоке, и утренний воздух, волнуемый свежим северо-западным ветром, манил на простор до наступления подавляющего зноя полудня.

Из хорошо знакомого нам загородного дома вышли две женские фигуры: старая рабыня Мелита и Сафо, внучка Родопис.

Воздушной поступью шла прелестная девушка через сад. Она и теперь, как тогда, когда мы видели ее спящей, была девственно свежа и очаровательна; выражение лукавства играло на ее розовых губках и в ямочках ее щек и подбородка. Густые темные волосы выбивались из-под пурпурно-красного платочка, и легкая белая утренняя одежда, с широкими рукавами, свободно облегла ее гибкий стан.

Она наклонилась, сорвала молодой розовый бутон, брызнула покрывавшей его росой в лицо служанке, громко и звонко засмеялась своей шутке, приколола розу к груди и запела удивительно звучным голосом:

Эрос рвал однажды розы:
Незаметно подползла
И ужалила малютку
Им незримая пчела.
Задрожал от боли Эрос,
Бьет ручонками, кричит
И – свое поведать горе —
Быстро к матери летит.
«Мать, о, мать, мне больно, больно,
Верно, смерть пришла моя!
Взглянь: ужалила мне руку
Злая, мерзкая змея». —
«Не печалься, мой малютка:
Ты ужален не змеей,
А крылатым насекомым,
Называемым пчелой».

– Не правда ли, моя песня прекрасна? Как, однако, глуп Эрос: принял пчелу за крылатую змею! Бабушка говорит, что она знает еще одну строфу этой песни, сочиненной великим поэтом Анакреонсом; но она не хочет мне прочесть ее; скажи, Мелита, что заключает в себе эта строфа? Ты улыбаешься? Миленькая, несравненная Мелита, пропой мне эти стишки! Или ты не знаешь их? Нет? Ну, тогда, конечно, ты не можешь и научить меня им.

– Это совсем новая песня, – отвечала старуха, отклоняя просьбу своей любимицы, – а я знаю только песни доброго старого времени. Но что это? Не слышишь ли ты, что там, у двери, стучит молоток?

– Слышу, и мне послышался конский топот на улице. Опять стучат! Посмотри, кто там стучится в такой ранний час. Может быть, это добрый Фанес не уехал вчера и хочет еще раз попрощаться с нами.

– Фанес уехал, – возразила старуха, становясь серьезнее. – Родопис приказала мне послать тебя в дом в случае чьего-либо посещения... Ступай, девушка, чтобы я могла отворить калитку. Иди же, вот стучат опять!

Сафо сделала вид, будто она побежала к дому, но, вместо того чтобы послушаться приказания своей наставницы, спряталась за розовыми кустами, чтобы оттуда посмотреть на раннего посетителя. Дабы не тревожить ее напрасно, от нее скрыли происшествия прошлого вечера, и в такую раннюю пору Сафо привыкла видеть у своей бабки только самых близких друзей.

Мелита отворила калитку сада и вслед за тем ввела в сад белокурого, богато одетого юношу.

Удивленная иностранным костюмом и красотой персидского принца, – это был он, – Сафо не трогалась с места и не могла отвести глаз от его лица. Именно таким она представляла себе златокудрого Аполлона, правящего солнечной колесницей предводителя муз.

Мелита и чужеземец приблизились к убежищу, но она высунула между роз свою головку, чтобы лучше понять юношу, который дружески говорил с рабой на ломаном греческом языке.

Она услышала, что он с некоторой поспешностью осведомляется о Крезе и его сыне. Затем она в первый раз из слов рабыни узнала, что произошло вчера вечером. Она волновалась за Фанеса и в глубине души благодарила великодушного Гигеса; она спрашивала себя: кто этот юноша, одетый по-царски? Хотя Родопис и рассказывала ей о могуществе и богатстве персов, но до сей поры она считала азиатов грубым и диким народом. Теперь, чем дольше она смотрела на прекрасного Бартю, тем более возрастали ее симпатии к персам. Когда, наконец, Мелита ушла, чтобы разбудить ее бабу и известить ее о раннем посетителе, то Сафо хотела удалиться, но проказник Эрос, над детским невежеством которого девушка смеялась несколько минут тому назад, не позволил ей сделать это. Ее платье запуталось в колючках роз, и, прежде чем девушка смогла освободиться от них, прекрасный перс уже стоял против нее, помогая сильно покрасневшей Сафо отцепить свое платье от предательского шиповника.

Сафо была не в состоянии промолвить ни одного слова благодарности и, стыдливо улыбаясь, опустила глаза.

Бартя, обыкновенно столь смелый юноша, теперь смотрел на нее безмолвно и покраснел, как она.

Но это молчание продолжалось недолго. Девушка, скоро оправившись от своего смущения, вдруг звонко и весело засмеялась, детски потешаясь над безмолвным незнакомцем и над странностью их положения, и побежала к дому, подобно испуганной лани.

В свою очередь и к персу вернулась свойственная ему развязность. В два прыжка он догнал девушку, мгновенно схватил ее за руку и, несмотря на все ее сопротивление, удержал эту руку в своей.

– Пусти меня! – попросила Сафо полусерьезно-полушутливо, подымая свои темные глаза на юношу.

– Как бы не так! – возразил он. – Я оторвал тебя от розового куста и буду держать теперь крепко до тех пор, пока ты не отдашь мне вместо себя спрятанную у тебя на груди свою сестру, на память в моем дальнем отечестве.

– Прошу тебя, пусти меня! – повторила Сафо. – Пока ты не выпустишь моей руки, я не вступлю с тобою ни в какие переговоры.

– А ты не убежишь, если я исполню твое желание?

– Конечно, нет!

– Итак, я дарю тебе свободу, но ты, со своей стороны, должна отдать мне свою розу!

– Там, в кустарнике, есть розы гораздо красивее этой. Сорви какую хочешь; зачем тебе именно моя?

– Чтобы заботливо сохранить ее в воспоминание о прекраснейшей девушке, какую я когда-либо видел!

– Ну, так я вовсе не отдам тебе розу – потому что, кто называет меня красавицей, тот имеет против меня дурные намерения; кто же говорит, что я хорошая девушка, тот желает мне добра.

– Кто научил тебя этому?

– Моя бабушка, Родопис.

– Хорошо, так я скажу тебе, что ты самая лучшая девушка на свете.

– Как можешь ты говорить такие вещи? Ведь ты меня совсем не знаешь. О, я бываю иногда очень зла и непослушна! Если бы я была хорошей девушкой, то вместо того, чтобы болтать теперь с тобою, вернулась бы в дом. Бабушка мне строго запретила оставаться в саду, когда там находятся чужие; да мне и нет никакого дела до мужчин, постоянно толкующих о вещах, которых я не понимаю.

– Так ты желаешь, чтобы и я удалился?

– Нет, я понимаю тебя вполне, хотя ты говоришь далеко не так хорошо, как, например, Ивик, или бедный Фанес, который вчера, как я только что сейчас услышала от Мелиты, принужден был бежать!

– Любишь ты его?

– Люблю ли? Да, он мне не противен. Когда я была маленькой, он всегда привозил мне мячи, складные куклы и кегли из Саиса и Мемфиса; теперь же, когда я выросла, он учит меня прекрасным новым песням и, на прощанье, привез мне совсем маленькую сицилийскую комнатную собачку, которую я назову Аргосом, потому что она очень бела и быстронога. Но через несколько дней мы получим от доброго Фанеса еще другой подарок, потому что... Видишь, какова я! Чуть не выболтала великую тайну. Бабушка строго запретила мне говорить кому бы то ни было, каких милых маленьких гостей мы ждем; но мне кажется, как будто мы с тобою давно уже знакомы, а у тебя такие добрые глаза, что я охотно расскажу тебе все. Видишь ли: у меня, кроме бабушки и старой Мелиты, нет в целом мире человека, которому я могла бы открыть то, что меня радует, и часто – я сама не знаю, отчего это происходит, – обе они, при всей своей любви ко мне, совсем не понимают, почему что-нибудь прекрасное может принести мне такую великую радость.

– Это происходит оттого, что они стары и не могут уже понимать радостей молодого сердца. Но разве у тебя нет никакой подруги, никакой сверстницы, которую бы ты любила?

– Ни одной. В Наукратисе есть много девушек кроме меня; но бабушка говорит, что я не должна искать их общества, и так как они не хотели прийти к нам, то и я будто бы не должна посещать их.

– Бедное дитя, если бы ты была в Персии, то я скоро мог бы найти для тебя подругу. У меня есть сестра, по имени Атосса, – молодая, прекрасная и добрая, как ты.

– Как жаль, что она не приехала с тобою! Но теперь ты должен сказать мне, как тебя зовут.

– Бартия.

– Бартия? Странное имя; Бартия... Бартия... Знаешь ли, что это имя мне нравится? Как же зовут доброго сына Креза, который так великодушно спас нашего Фанеса?

– Его зовут Гигесом. Дарий, Зопир и он – мои наилучшие друзья. Мы поклялись никогда не разлучаться и жертвовать жизнью друг за друга. Поэтому-то я сегодня чуть свет, вопреки их просьбам, украдкой поспешил сюда, чтобы быть возле Гигеса, на случай, если он будет нуждаться в помощи.

– Но ты приехал напрасно.

– Нет, клянусь Митрой! Не напрасно, потому что я нашел тебя. Но теперь и ты должна сказать, как тебя зовут?

– Меня называют Сафо.

– Прекрасное имя. Не родственница ли ты поэтессе, из сочинений которой Гигес певал мне такие прекрасные песни?

– Да; десятая муза, или лесбосский лебедь, как называют Сафо-старшую, была сестрой моего деда Харакса. Твой друг Гигес, конечно, сильнее тебя в греческом языке?

– Он с колыбели научился эллинскому языку, вместе с мидийским, и одинаково свободно говорит на обоих. Он в совершенстве владеет также и персидским, и, что еще важнее, он усвоил также и все добродетели персов.

– Какие добродетели ты считаешь самыми высшими?

– Правдивость есть первая из всех добродетелей; второю мы называем храбрость; третьей – послушание. Эти три добродетели, соединенные с благоговением к богам, сделали нас, персов, великими.

– Но я думала, что вы не знаете никаких богов.

– Легкомысленный ребенок! Кто мог бы существовать без богов, кто захотел бы жить без высшего руководителя? Конечно, мы не помещаем небожителей, как вы, в домах и статуях, потому что их жилище все мироздание. Божество, которое должно быть повсюду, слышать и видеть все, не может быть заключено в стенах.

– Где же вы молитесь и приносите жертвы, если у вас нет храмов?

– У величайшего из всех алтарей – на открытом воздухе; охотнее всего – на вершинах гор. Там мы ближе, чем где-нибудь, к нашему Митре, великому солнцу, и Аурамазде, чистому творящему свету; там бывают самые поздние сумерки и самый ранний рассвет. Только свет чист и бодр; тьма же черна и зла. Да, девушка, на горах божество к нам ближе, чем где-либо; и там его любимейшее местопребывание. Стояла ли ты когда-нибудь на лесистой вершине высокой горы и прислушивалась ли к внушающему трепет тихому веянию дыхания божества в торжественном безмолвии природы? Падала ли ты на землю в зеленом лесу, у чистого источника, под открытым небом, прислушиваясь к голосу Бога, раздающемуся из всех листьев и из всех вод? Видала ли ты, как пламя неудержимо устремляется вверх к своему отцу – солнцу, и молитва в восходящем к небу дыме идет навстречу великому лучезарному Создателю? Ты слушаешь меня с удивлением; но уверяю тебя, что ты преклонила бы колени и стала бы молиться вместе со мною, если бы я привел тебя к алтарю на вершине высокой горы!

– О, если бы я могла пойти туда с тобою! Если бы мне удалось посмотреть с какой-нибудь горы на все долины и реки, леса и луга! Я думаю, там, в высоте, где ничто не могло бы укрыться от моих взглядов, я почувствовала бы себя самым всевидящим божеством. Но что это такое? Бабушка зовет меня; я должна идти.

– Подожди, не оставляй меня.

– Но ведь послушание есть персидская добродетель!

– А моя роза?

– Вот, возьми ее.

– Будешь ли ты вспоминать обо мне?

– Как же может быть иначе?

– Милая девушка, извини меня, если я попрошу у тебя еще об одной милости.

– Скорее, бабушка зовет опять.

– Возьми эту звезду из бриллиантов на память об этом часе.

– Я не смею взять.

– Прошу, прошу тебя, возьми! Мой отец подарил мне ее в награду, когда я убил собственной рукой первого медведя. Она была самым любимым моим украшением, а теперь она должна перейти к тебе, потому что теперь я не знаю ничего милее тебя.

Юноша снял цепочку со звездой с своей груди и хотел повесить ее на шею девушки. Сафо отказывалась принять драгоценный подарок; но Бартия обнял ее стан, поцеловал ее в лоб, надел ей с дружеским жестом эту безделушку на шею и устремил глубокий взгляд в темные глаза трепетавшей девушки.

Родопис позвала в третий раз. Сафо вырвалась из рук принца и хотела убежать, но обернулась еще раз, вследствие умоляющего призыва юноши, и на его вопрос: «Когда я могу тебя увидеть снова?» – отвечала тихим голосом:

- Завтра рано, у того розового куста.
- Который держит тебя крепко, в качестве моего союзника.

Сафо поспешила в дом. Родопис приняла Бартию и сообщила ему, что знала о судьбе его друга.

Молодой перс тотчас же поехал обратно в Саис.

Когда Родопис в этот вечер, по обыкновению, подошла к постели своей внучки, она нашла ее спящей уже не прежним детским спокойным сном: губы Сафо шевелились, и она глубоко и печально вздыхала, как будто ее мучили беспокойные грезы.

На пути из Наукратиса в Саис Бартия встретил своих друзей Дария и Зопира, которые поехали за ним, как только заметили его тайное исчезновение. Они не подозревали, что вместо борьбы и опасностей Бартия познал счастье первой любви.

Незадолго до приезда трех друзей Крез прибыл в Саис. Он тотчас же отправился к фараону и рассказал ему откровенно, по правде все случившееся в последний вечер.

Амазис был, по-видимому, удивлен поведением сына Креза, уверял своего друга, что Гигес будет немедленно освобожден, и начал отпускать шуточные и насмешливые замечания по поводу неудавшейся мести Псаметиха.

Едва Крез оставил его, фараону доложили о наследнике престола.

Глава десятая

Амазис принял сына с громким смехом и, не обращая внимания на его бледное и расстроенное лицо, заявил:

– Не сказал ли я тебе с самого начала, что простоватому египтянину вовсе не легко поймать хитрейшую эллинскую лисицу? Я отдал бы десяток городов моего царства, чтобы иметь возможность присутствовать при сцене, когда ты в мнимом быстроразличном афинянце узнал запинаящегося лидийца.

Псаметих все более бледнел. Он задрожал от гнева и возразил подавленным голосом:

– Нехорошо, отец мой, что тебя радует позор, нанесенный твоему сыну. Если бы не Камбис, то – клянусь вечными богами! – бесстыдный лидиец сегодня в последний раз увидел бы свет солнца! Но какое тебе дело до того, что я, твой сын, сделался посмешищем этой греческой шайки нищих!

– Не поноси тех, которые доказали, что умнее тебя.

– Умнее, умнее? Мой план был так тонко и искусно продуман...

– Тончайшая ткань разрывается легче всего.

– Так тонко продуман, что от меня не мог бы уйти этот эллинский крамольник, если бы, против всякого ожидания, не вмешался посол иностранной державы, в качестве спасителя этого человека, приговоренного нами к смерти.

– Ты ошибаешься, сын мой, здесь речь идет не об исполнении судебного приговора, а об успехе или неудаче личной мести.

– Однако же орудием ее были должностные лица царя, и поэтому самое меньшее, чего я должен требовать от тебя для моего удовлетворения, состоит в том, чтобы ты попросил персидского царя наказать человека, который самостоятельно вмешался в исполнение твоих приказаний. Подобный поступок будет правильно истолкован в Персии, где все преклоняются перед царской волей, как пред божеством. Наказать Гигеса – это долг Камбиса перед нами.

– Однако же я никогда не сделаю ему подобного предложения, так как признаюсь, что рад спасению Фанеса. Гигес избавил мою совесть от упрека, что я пролил невинную кровь, и помешал тебе совершить жестокую месть над человеком, которому обязан твой отец.

– Итак, ты не намерен уведомлять Камбиса обо всем этом происшествии.

– Нет. Я опишу ему это в письме в шутиливом тоне, в свойственной мне манере, и в то же время предостерегу его насчет Фанеса; приготовлю его к тому, что этот последний, с трудом избежав нашей мести, постарается восстановить персидское государство против Египта, и буду убеждать своего зятя не слушать клеветника. Дружба Креза и Гигеса принесет нам больше пользы, чем ненависть Фанеса – вреда.

– Это твое последнее слово? Ты не хочешь дать мне никакого удовлетворения?

– Нет, я остаюсь при том, что сказал.

– Итак, трепещи не только перед Фанесом, но и перед другим лицом, которого мы держим в своих руках и который держит тебя в своих!

– Ты угрожаешь мне, ты хочешь вновь разорвать заключенный вчера союз? Псаметих, Псаметих, советую тебе помнить, что ты стоишь перед твоим царем и отцом.

– А ты вспомни о том, что я твой сын. Если ты снова заставишь меня забыть, что боги сделали тебя моим родителем, и если я не могу ожидать от тебя никакой помощи, то я сумею сражаться моим собственным оружием!

– Мне было бы любопытно знать, что это за оружие.

– Мне нет надобности скрывать его от тебя. Итак, узнай, что я и мои друзья – жрецы держим в своих руках главного врача Небенхари.

Амазис побледнел.

– Прежде, чем ты мог предчувствовать, что Камбис делается женихом твоей дочери, ты послал этого человека в Персию, чтобы удалить из Египта лицо, знающее о происхождении моей так называемой сестры Нитетис. Там он остается и теперь и, по малейшему намеку жрецов, сообщит обманутому царю, что вместо собственной дочери ты осмелился послать ему дочь своего свергнутого с престола предшественника Хофры. Все бумаги врача находятся у нас; важнейшая из них – твое собственноручное письмо, оно обещает его отцу, родовспомогателю, тысячу золотых колец, если он скроет даже от жрецов, что Нитетис происходит не от твоей, а от другой фамилии!

– У кого эти бумаги? – спросил Амазис ледяным тоном.

– У жрецов.

– И они говорят твоими устами?

– Да...

– Итак, повтори, чего ты желаешь.

– Проси Камбиса о наказании Гигеса и уполномочь меня преследовать бежавшего Фанеса по моему усмотрению.

– Это все?

– Дай жрецам присягу в том, что отныне ты запретишь эллинам воздвигать храмы их ложных богов в Египте, что постройка храма Аполлона в Мемфисе прекращается.

– Я ожидал подобных требований; однако же против меня найдено острое оружие. Я готов исполнить желание моих врагов, к которым отныне присоединился и ты; но и я, в свою очередь, должен предложить два условия. Во-первых, я требую возвращения мне упомянутого письма, которое я так неосторожно написал к отцу Небенхари. Если я оставлю его у вас, то могу быть уверен, что перестану быть вашим фараоном и сделаюсь самым жалким рабом презренных жреческих козней...

– Твое желание основательно; ты получишь письмо, если...

– Никакого другого если! Лучше выслушай вот что: твое желание, чтобы я просил Камбиса наказать Гигеса, я считаю неразумным и потому не исполню его. Теперь оставь меня и не являйся мне на глаза до тех пор, пока я тебя не велю позвать. Вчера я приобрел сына, чтобы сегодня снова потерять его. Встань! Я не желаю видеть никаких знаков покорности и любви, которых ты никогда не ведал. Если ты будешь нуждаться в утешении, в совете, то обратись к жрецам и посмотри, могут ли они заменить тебе отца. Скажи Нейтотеу, в руках которого ты не более как мягкий воск, что он нашел верное средство заставить меня сделать то, в чем я бы отказал при других обстоятельствах. Чтобы сохранить величие Египта, я до сих пор был готов на любые жертвы, но теперь вижу, что жрецы не гнушаются угрожать мне изменой отечеству для достижения своих собственных целей, хотя бы это легко могло заставить меня считать людей, принадлежащих к привилегированной касте, более опасными врагами моего царства, чем персы. Берегитесь, берегитесь! На этот раз я уступаю крамолам моих врагов, потому что я сам, своею отеческой слабостью, накликал опасность на Египет; но на будущее время – клянусь великой Нейт, моею властительницей! – я обязательно докажу, что я фараон, и скорее пожертвую всей кастой жрецов, чем малейшей частицей моей воли. Молчи – и оставь меня!

Наследник престола удалился; фараону же на этот раз потребовалось много времени для того, чтобы успокоиться и выйти к гостям с веселым видом.

Псаметих тотчас же отправился к главнокомандующему туземными войсками и приказал ему отправить в каменоломни Тебаиды египетского сотника, неловкого исполнителя его неудавшейся мести, а эфиопских воинов возвратить на родину. Затем он поспешил к главному жрецу богини Нейт, для сообщения ему о том, к чему ему удалось принудить фараона.

Нейтотеп задумчиво покачал своей умной головой по поводу угрожающих слов Амазиса и, отпустив наследника престола, дал ему несколько наставлений, без чего он никогда не отпускал его.

Псаметих отправился к себе домой.

Его неудавшееся мщение, новый разрыв с отцом, опасность быть осмеянным иностранцами, чувство своей зависимости от воли жрецов, вера в мрачную судьбу, висевшую над его головой со дня его рождения, – все это лежало тяжелым гнетом у него на сердце и отуманивало его ум.

Его красавица жена умерла, а из пяти процветающих здоровьем детей осталась только одна дочь и маленький сын, которого он сильно любил. К этому малютке он отправился теперь; возле него он надеялся найти утешение и новую энергию жизни. Голубые глаза и смеющиеся губки его сына были единственными предметами, которые могли согреть ледяное сердце этого человека.

– Где мой сын? – спросил он первого попавшегося ему царедворца.

– Только что сейчас фараон велел привести к нему князя Нехо и его няньку, – отвечал слуга.

В это время домоправитель наследника престола подошел к нему и подал ему запечатанное, написанное на папирусе письмо и, низко поклонившись Псаметиху, сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.